

Анна Матвеева

Девять девяностых

Жемымо

Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой.

Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку.

Один из них — качели. Они стояли во дворе дома номер семь, по соседству с нашим бараком. Новостройка заняла и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек. У седьмого, бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и, предмет главной зависти окружающих, — лоджии. Каждый же где до прихода человека строящего дремали вековые болота, гордился этим домом — его даже удостоили особым временем было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия: наш район звался «Поса Посадской, ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семёра существует по сей день красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами-деревьями. Вот только качелей, любимой мое нет.

Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху, тонкой кисточкой, мастер изобразил трещины в берёст похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло — все знали, что качели поста барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером.

Я приходил к «березке» ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что в комнате появляется воздух — ведь тетка Ира постоянно говорила про меня:

— Дышать от него нечем! То спит, то ест!

Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб, — я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,

В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.

Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,

Как жемымо-лоды были тогда!

В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тетка Ира, «тех» умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таинственное слово «жемымо». Было в нем что соблазнительное, женственное. Может быть, даже — французское. Я не сразу понял, что «жемымо» — это слухова тогда не перестал любить это слово — оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал мечтая о будущем, надеялся, что однажды приеду во двор Семёры за рулем роскошной «девятки» цвета «мокрый ас ранцем к спинке качельной сидушки, я отталкивался ногами и взлетал всё выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты.

Вот оно, будущее! Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаясь у подъезда, где живут мои враги-Репин и Виталья Корнеев. Вот они — Репа и Корень будущего — выходят из подъезда, одетые, как бичи из барака. То ес гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах Репа и Корень меняли — в раннем утреннем полете над пустынным двором никто не требовал от меня логики и мотивации.

Вот я из будущего неторопливо опускаю тонированное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов.

Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова — гангстера по кличке Паштет. Паштет пр это был еще один повод для Репы с Корнем, чтобы задирать нос.

Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной се них в детстве мечтал стать олимпийцем: быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на У времена — точнее, не пришли, а дали с размаху по воротам тренированной ногой... То время перемен упало на пацанов как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой (еще одна теткина любовь, шла сразу после «жемымо», но впереди многоку из которых мне нравилась больше других — про Сеню, который «с чувством долга удалился»). Свобода, улица, король заводов, на месте встал, раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское, несерьезн привычка тренироваться осталась — в любой тренажерке в те годы стояла очередь к каждому станку.

Цеховики шили варёнки и шапочки-«пидорки» из женских рейтуз, на рынках продавались корейские платья с кр такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды «сникерсы», «баунти» и водка «Стопка». И вот тогда, на пути между ларьками — смыслом жизни эпохи ранних девянос смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им легион. Почти весь легион ныне — на кладбищ Ширококореченском, Северном, Лесном... Лег он, легион.

Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. «Ломал» деньги у коммерческих маг крышевал рынки, при его участии даже был продан первый в области эшелон меди.

В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета — вот только, чтобы оценить эту героику, надо было смотреть н профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя г как ящик в сломанном комоде. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понз герой моего детства.

Одет он был всегда безупречно — кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые « носки. Иных в те годы просто не носили — если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не меняешь и не стираешь их каждый день.

Качели уносили меня всё выше. Милая моя «березка»! В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительсь а папы я сроду не видел, но знал, что называли меня по его желанию. Филипп — имя курчавого певца, похожего на п пору моего детства он (певец, не пудель) еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей св пулемета Дегтярева — по скромной жизни свердловского мальчика. «Киркорыч» — одно из самых частых моих прозе же, летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а п повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив «березку» за металлически вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и жемымо.

Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький смотрела на меня и часто, будто лял впаца, лыпала, улыбаясь. Звбки в нее были мелкие и острые, как битое стекло.

— Здорово! — сказал Паштет и протянул мне руку.

Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь.

Собачка зевнула.

— Погода-то какая! — с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины «опель-кадетт» — желтели распальцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими «дворн» поместили туда специально. В широком небе нежились крохотные, свежие облака. Птицы передумали улетать на юг и радио.

— Как жить хорошо! — заметил Паштет и потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел заправленный в брюки, а главное — пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман.

— Слышь, пацан! — адресно обратился ко мне Паштет, отплевывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка никакого отношения к Паштету, она всего лишь ~~метелем~~ ~~метелем~~ ~~метелем~~ это отношение. И пользовалась случаем засвидетельств почтение, преданность и остренькие зубки. — Пусти-ка!

Я поспешно слез с «березки», она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидуш «саламандры» отталкиваются от земли, и Паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и т мне пистолет подержать и начал крутить на качелях «солнышко».

Мы всё еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка Василька. Собачка подхалим из-под рябины.

Той осенью Паштету было двадцать пять лет.

Не помню, как он слез с качелей и забрал у меня свой «макаров». «Дворники» очнулись, стряхнули со стекла рябино помахал, уезжая.

Никто бы не поверил мне — разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятны словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по два года. Таблица умножения никак не давалась ему, хот уже второй год была алгебра.

— Мне бы, Фил, восемь классов окончить, — мечтал брат, — и потом в учагу. На токаря.

Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира — та только пела как ангел, а нрав имела сварливы могла. С Васильком они бились нещадно, «до кровей», потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, — смотрели на клумбу, где подним второгодники, мальвы и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе Семёры будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы.

— Попасть бы в кенты к Паштету, — мечтал брат. — Я бы для него... да я бы, Фил, всё для него делал. Сказал бы — р я б разобрался.

— А убить? — замирал я.

Димка тяжело размышлял, щеки, и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми.

— Убил бы.

И тут же сворачивал теме шею:

— Я б тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов. И «Баунти — райское наслаждение». А матери — шампунь и ко козлу, Васильку, отравленного спирта. Чтобы сдох!

Он был очень добрым, мой брат Димка. И я всегда с удовольствием искал для него недокуренные басы — во дворе Семёры подбирал чинарики «Конгресса», который предпочитали Паштет и его люди, и коричневые «Море» бандитских подруг.

Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда Паштет крутил «солнышко» на качелях, я не успел расска приключении — потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда.

Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новос прикрывала от нас своей широкой юбкой.

— Ребята, у нас новенькая! — сообщила наконец учительница и отступила прочь, и за широкой юбкой, словн занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка.

— Стелла была отличницей в своей школе. И она обязательно будет отличницей у нас, правда, Стелла?

Девочка с каменным именем (а разве оно не каменное? Тяжелое, как надгробие) пожала плечами, словно еще н удостоить нас такой радости.

— Подумаешь, — прошипела моя соседка по парте, Вика Белокобыльская, в которую я на днях всерьез собирался влюбиться.

Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым: н скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне, как «элит лучших европейских бутиков», что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу.

У Белокобыльской пылали уши — так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонк так же надменно вышла из класса, выяснилось, что тощие косицы моей соседки накрепко привязаны лентами к спи места она не может — ленты завязаны какими-то хитрыми тройными узлами.

Белокобыльская икала и выла, ленты пришлось отрезать учительскими ножницами с зелеными ручками, но Стелла так и не созналась.

— Вы что, с ума сошли? — спросила она у всего класса и у нашей учительницы в придачу. — Зачем мне это надо?

Учительница не нашлась что ответить — я понял это, когда увидел, что она бросила свои драгоценные ножниц непроверенными тетрадами. Ножницы с зелеными ручками, в святости которых не сомневались даже школьные атеисты!

И еще я понял, что влюбился в Стеллу.

В тот вечер в нашей комнате было почти что тихо. Тетка Ира ~~Исправитель~~ ~~Исправитель~~ ~~Исправитель~~ пошел оцинкованный таз. Василька г носила нелегкая (я представлял себе эту нелегкую громадной бабичей с растопыренными холодными руками), а мы починить давно списанный с «большой земли» магнитофон «Романтик-306». Дерматовый ремень вместо короткс ручки, да и собственно надписи «Романтик-306» уже нет — там выведены белой краской острые буквы «Metallica».

Димка пыхтел, старался, мне было скучно, и я косился на окно, где за кустами боярышника темнели чужие ожесточенно терла белье на стиральной доске, словно не стирала его, а пыталась разодрать в клочья.

— Добрый день! — вдруг раздалось из коридора, и мы с Димкой подпрыгнули. На пороге нашей комнаты стоя женщина в белом брючном костюме. За руку она держала девочку, девочкой была Стелла.

— Вы хтось такие? — испугалась тетка Ира, уронив с грохотом свою доску.

— Можно сказать, ваши соседи, — вежливо сказала брючная. — Мы переехали в седьмой дом.

— А-а — протянула тетка Ира, как будто ей всё тут же стало понятно. Она вытерла руки о штормку, ногой свиннула в сторону таз

карточку — на фоне «Катти Сарк», с серьезным лицом. Снимал меня лучший друг — Джонни Эшвуд.

Как быстро забылось всё, что было у меня до Англии! Даже когда пришло письмо от тетки Иры (адрес на конверте Сергеевича) — она писала, что Димку застрелили на разборках, а Василька посадили за кражу, которой он, конечно даже тогда я воспринял эти новости так, будто услышал их из телевизора — и они касались кого-то другого, не меня. в год фотографировался — это — го требовал таинственный покровитель, занимался греблей, изживал русский акцент я позволял себе делать в память о прошлом, — это читать в библиотеке старые российские газеты. Однажды на глаза мне попала заметка о том, что бывший криминальный деятель из Екатеринбурга, Петраков по кличке Паштет, был взорван вместе со своим вским по кличке К. в вертолете, в окрестностях озера Балатон. Паштета и К. грохнули два года назад, когда я тол Англии.

Конечно, меня и прежде волновал вопрос: кто был моим таинственным покровителем? Но Андрей Сергеевич вел себя обычного, когда я пытался разузнать у него хоть что-то об этой личности. Я не сомневался, что опекун — это Паштет, калаша, — но оказалось, что Паштет давным-давно качается на небесных качелях и даже, может быть, крутит на них «солнышко»...

Чем старше я становился, тем чаще обо всем этом думал. Стелла, с которой мы переписывались время от времени Надежда Васильевна хочет отправить ее учиться в Сорбонну. Но за год до окончания школы ее странная бабушка умерла.

Я не понимал, зачем мне ехать в Екатеринбург на похороны Надежды Васильевны — ведь я не полетел туда, даже Димкой! Но Андрей Сергеевич настаивал, и поэтому я попросил мать Джонни проводить меня в Хитроу. Мне очень моего друга. У нее было еще два мальчика, младше нас с Джоном, и взрослая дочь, она жила где-то в Уэльсе.

— Как вы считаете, мэм, девочки лучше мальчиков? — спросил я по дороге. Мы, конечно, собрали все лондонские пробки.

Миссис Эшвуд расхохоталась, как девчонка.

— Что за глупые фантазии, русская душа? — так она звала меня после одной истории, литературного вечера, по работами, Достоевскому. — Мужчина и женщина — две части одного целого. Что лучше, правая половина яблока или левая?

У нее был неортодоксальный ум; клянусь, если бы она не была мамой моего друга, я бы на ней женился.

— Знаешь, русская душа, — сказала миссис Эшвуд, пока мы с ней бежали на регистрацию рейса, — с девочками особенно — простым женщинам. Девочки — в той же системе интересов. А мальчики... Им нужно так много! С ними нужно еще — их обязательно нужно любить!

Добрая миссис Эшвуд громко чмокнула меня в лоб и подтолкнула к выходу.

Из-за меня похороны отложили на два дня, и мы с Андреем Сергеевичем мчались в крематорий, как на пожар. На лежала в гробу — белом, как у невесты. На лбу у нее была повязка, но не с молитвой, как у православных, а со словом Надежда».

Стелла схватила меня за руку, и я почувствовал, что не смогу отцепить ее пальцы — они были как ленты, привязанными узлами к спинке стула.

Бухнула дверь, гроб ушел в печь, будто участвовал в спектакле с крутящимся полом и сменой декораций. Мы вышли плакала, глаза ее блестели.

Андрей Сергеевич протянул мне конверт — я видел в его лице облегчение, что сейчас он может наконец открыть правду.

Буквы скакали перед глазами, как черти.

«...августа... города Свердловска... официально удостоверяю...»

Это было свидетельство об опекунстве и еще какие-то бумаги, подтверждавшие, что Надежда Васильевна была мной же оплачивала учебу в Англии. Последний листок в конверте, даже не листок, а крошечная бумажка, на каких пишу людям:

«Девочки — лучше! Пусть у вас родится дочка. И не вздумай обижать Стеллу, а то приду к тебе в кошмарах и замучаю до смерти».

Я боялся посмотреть на Стеллу, но чувствовал, что ее рука опять впилась в мою — пальцы у нее были холодные и прилипали, как чертополох, символ Шотландии.

— Не сработал ваш оцинкованный таз, — сказала Стелла. — Надежда Васильевна хотела напугать меня, а я, назвав уговорила ее тебе помочь. Надо ведь было сделать из тебя человека, Фил. Теперь мы будем вместе, ты рад?

Вечером, после недолгих, но всё равно утомительных поминок, я вышел из Семёры — она показалась мне облепленной «Березки» уже не было, на ее месте стоял актуальный по тем временам «пивной стол». Я на Белореченской поймал чашу Аллу Пугачеву и вонь соляры, повез меня на Широкореченское кладбище. Частник ехал вкругаля, его явно вдохновила. Высадил он меня у главного входа на кладбище, и я довольно долго бродил среди могил, пока не вышел к «аллее» — памятники в полный рост, портреты братков — с ключами от «мерседесов», цепями на шее и клятвами «не забыть» — нашлась здесь же, его удостоили вполне приличного памятника с портретом. Брат смотрел на меня, глаза в глаза. И спала, уютно свернувшись, серая, как гранит, собака. Ее не будили ни мои вздохи, ни удары далеких лопат, ни чье-то ясное пение:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,

В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.

Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,

Как жемьимо-лоды были тогда...

Как же мы молоды были тогда.

Горный Щит

Моей маме

— Оля, а почему ты сегодня в очках?

— Я без них только сплю, да и то не всегда.

— Прости, никогда не помню, кто в очках, кто — нет. И бороды не помню. Вот у Ленина была борода, как считаешь?

Ольга вытащила десятирублевую купюру из кошелька, показала Татьяне:

— Была. И борода, и усы. Как это можно не помнить?

— Ну, извини! Правда, не помню. А очки у него были?..

Автобус дернулся на повороте, по стеклам хлестнуло жесткой, как банный веник, августовской листвой. Юбки при дерматиновым сиденьям, ехать было еще далеко. Вторчермет. Титова, Селькоровская — раньше здесь жили роды говорила — «Селькоровская», как будто в честь коровы. Татьяна не разубеждала дочку: объяснить ребенку, кто корреспонденты и зачем им посвятили целую улицу, да еще такую длинную, у нее всё равно не получилось бы. Пусть — они понятные. И ошибку на письме не сделает.

Надо же, у Ольги колготки драные! Стрела — во всю ногу.

Ольга прикрыла стрелу сумкой.

— Ты лучше скажи, серьезно настроена? Потому что Алка тоже интересовалась, и Надежда...

— Ну Оля, вот зачем ты? Я же тебе сказала: мне лишь бы печка была, огородик. Пересидим с ребятами дурное время... Сразу же куплю, если там всё в порядке.

Ольга поправила очки на лице — как холст на стене.

Татьяна не волновалась, что обманут, знала — дом сам ей всё расскажет. Когда она приехала в Свердловск учиться: начала примерять к себе множество разных домов и квартир — и научилась их слышать, понимать, разбирать их ист полочкам.

Вот, например, нелюбимые дома — всегда печальные, но при этом еще и мстительные, как гарпии. В самый важны чужих людях, вдруг распаивают дверцы, а оттуда сыплется личная жизнь. Или еще: берешься за дверную ручку, и ои тебя в руке, отдельно от двери. Хозяин не любит свой дом — и дом грустит, плачет, эти пятна от слез — на обоях, на п счастлив — тогда в нем всегда свет, даже если окна выходят на север. И цветы растут во все стороны, и кот спит нелюбимых домах цветы вянут, а коты прячутся по углам, как мыши.

Татьяна еще на абитуре поняла, что никогда не сможет жить в общежитии, на виду у шести человек, — и сняла к Радищева, рядом с Центральным рынком. Частный сектор, удобства во дворе. В дверном проеме висела занави разрезанных откриток: Татьяна пропускала сквозь пальцы картонные кусочки и даже разбирала какие-то буквы — н не складывались.

Желтые окна свердловских домов нравились Татьяне больше звезд, к тому же звезд всё равно видно не б переговаривались, сообщали Татьяне главное: однажды у нее обязательно будет свой дом! И это она лениво выкл перейдет в спальню, она, Татьяна, а не с трудом различимая тенька из углового дома на Куйбышева-Белинского. Не очень понятно было, откуда возьмется Татьяна дом — этого не объясняли ни окна, ни звезды. Она спала на старом топчане в тени ка вечерами гуляла по улицам и мечтала. Вот здесь будет зеркало. А сюда надо повесить ту люстру, что сияет на третье дома на улице Воеводина. Ах, Воеводин! Мастер по ремонту локомотивов и вагонов, а также, само собой, революцион он знать, что в честь него назовут эту чудесную улицу? За окнами — Плотинка. Подъезды, у которых действительно х а не грызть, к примеру, семечки. Под высоким потолком — щедрая люстра, висюльки овальные и прозрачные, Наверное, Воеводину было бы приятно.

Училась Татьяна блестяще — в этом смысле университет ничем не отличался от школы. Мама полагала, что в мире есть всего лишь две оценки — пять и два. Так что у Татьяны не было выбора, кроме как стать отличницей. «Круглой», — спокойным голос хотя это уточнение раздражало — представлялся блин с косичками, с глупой ухмылкой. На фотокарточках детсi закусывает щеки изнутри, чтобы казаться тоньше и незаметнее. А еще она писала мелким почерком — к счастью, рa хвосты собственных косичек, и не любила петь в хоре, хотя у нее, к несчастью, был голос.

Танечка не была счастлива в детстве, над ней постоянно что-то будто бы нависало — как просевшая палатка или , устанавливали на скорую руку. У ее мамы тоже не было счастливого детства — но тогда вообще такой моды не былс что дети должны быть счастливы! Жили как-то — и на том спасибо.

Мама часто повторяла, что смысл жизни — в труде. То же самое, немного другими словами, говорили по радио и в i всё равно провисала, и декорация готова была обрушиться при первом же чихе. Хотелось быть счастливой без всяки никто не обещал — особенно детям.

Трудились в ее семье много. Даже фамилия Рудневы напоминала Трудневых, а те, в свою очередь, могли бы чи походить на Трутневых, но это уже было бы не про Марию Петровну и Степана Макаровича. После смены на заво столовой, родители спешили домой, где начиналось второе отделение — на огороде. С ближними соседями, укрыт забором Клебановыми, у Петровны и Макаровича шла вечная борьба, кто кого переработает. Клебановы были серьез вставали до петухов, ложились позднее полуночников, еще и старик у них был крепкий, в одиночку окучил как-то всю картошку.

За окном летел неказистый, но милый уральский пейзаж — шеренга берез и горизонт с линией волнистых, подчеркивают определение при синтаксическом разборе).

— Подъезжаем, — оживилась Ольга. Народ вставал с мест, хотя автобус еще мчался — будто боялись, что не успе заметила табличку: «Горный Щит». В конце года читала со своими последними учениками Бажова. «Деревню-то Горн строили, чтоб дорога без опаски была». Кто бы мог подумать, что в середине лета позвонит Ольга и скажет, что ее , срочно продают малуху в Щите?

Ольга тоже встала с места и теперь махала юбкой, как веером. От нее пахло, как от теста для блинов, который Автобус накренился, дернулся и вдруг сделал крутой поворот — люди повалились друг на друга, кто с визгом, кто с i и даже промолчала, только очки сверкнули оскорбленно.

Подруги вышли на главной площади Щита — здесь было всё в точности как на любой другой площади большого Магазин по кличке «Стекляшка», названный так не то за стеклянные витрины, не то за вожделенные напитки, разлит тарн. Рядом — заброшенный. никому не нужный храм. а напротив автобусной остановки — школа. Татьяна може

Лерочка — доучится, ей остался всего год. Митя, если не поступит, пойдет вести труд у мальчиков. Счастье — в прокормимся. Лихие времена не могут длиться вечно. Или могут?

— ...Храм, между прочим, построен по проекту Малахова, — Ольга уже довольно долго, судя по всему, рассказывал слушала, осознав вот только этот факт, про Малахова. В Екатеринбурге знаменитый уральский архитектор построил город, а сейчас край города стал центром.

Главная улица в Щите названа в честь Ленина с усами и бородой — по ней и шли Ольга с Татьяной, то вниз, то блестела речка, процветшая, как полагается в августе, целыми островками. От каждого дома к реке спускался длинный двор, по периметру окруженный досками.

— А почему деревня называется Горный Щит? — спросила Татьяна. — Здесь же нет гор.

Ольга задумалась.

— Горы есть. Уральские называются. Ты их просто не заметила — они у нас невысокие.

У Ольги уже лет десять был дом в Горном Щите — остался в наследство от бабки мужа. На той же улице, но по хозяйству затеяли строительство большого дома, а пол-участка с малухой решили продать. Ольга сразу поняла, Свердловске нужны изба с огородом в поселке Горный Щит — конечно, Татьяне. Упоминание Алки и Надежды — это прием. Изба должна достаться Татьяне: в школе платили гроши, а муж пахал без зарплаты уже год, как, впрочем, и бралась за любую работу, даже на рынке пыталась торговать, хотя какая из нее торговка? В первый же день выданные деньги дали на реализацию знакомые Алкиных знакомых. Майки — черный трикотаж, золотое напыление. Как не цыган. Татьяна пришлось выплачивать из своих, просто с кровью выдирала из семьи эти деньги. А ведь она была сама профессорша с кафедры стилистики не зря говорила: Татьяна, вам нужно идти в науку, а в школу пусть идет Ольга, обижалась на профессоршу, ей не хотелось ни в школу, ни в науку. Она приехала в Свердловск из Бузулука, вышла из курса — местный парень, математик. Родили двух дочек, Ольга репетиторствовала дома, но без особых стараний дотянула. Татьяна — та дотянула и, как все, по распределению отработывала в сельской школе. Вела там не только писали школьники в дневниках, но и немецкий, и даже музыку. Музыкальную школу Татьяна тоже закончила на отлично, которая свято верила не только в счастье труда, но и в то, что девочка должна играть на пианино, а мальчик — на укулеле — на Февральской революции, в полуподвале.

Литературу она всегда объясняла при помощи языка — не только русского. И не всегда именно ту литературную программу. «Вы только не читайте сейчас „Анну Каренину“, подождите лет до тридцати!» — говорила Татьяна ученикам другой день все сидели, уткнувшись в «Анну». В самой фамилии Вронского, объясняла Татьяна, есть что-то неправильное, wrong.

Русский же был ее главный, любимый предмет — но и его она вела не по правилам. Причастия прошедшего времени Татьяна детям, вшивые. У отличников рты баранкой: как вшивые? А вы послушайте: приходиВШИЙ, забраВШИЙ. И придеепричастия какие? О, это выскочки и зазнайки, всегда якают: убираЯ, обучаЯ! И в прошедшем времени тоже есть выскочки, не подумавши.

Для самых глухих к языку были у Татьяны совсем уж странные секреты и советы, уберегшие, между прочим, не с двойки в восьмом классе. Один из таких секретов — помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинной «предчувствОВАВшая» или «долженствОВАТЬ». Нашел Вову — пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку.

В рекреации, как называли школьный холл, стоял маленький, точно гном, гипсовый Пушкин — проходя мимо, Татьяна гладила его по белым холодным волосам. Не грусти, брат Пушкин!

— Зачем вы его гладите? — спросил родитель девочки Эли из пятого «в».

— Мне кажется, ему здесь холодно. И одиноко.

Родитель впечатлился, потом — влюбился. Дальше случилась неприятная для всех история с разводом, девочку перевели в другую школу, а Татьяне вкатили строгий выговор с занесением в личное дело. После чего она вышла замуж, потому что и родитель девочки Эли стал ее мужем, а также родителем Мити и Лерочки. Сутулый умный Митя и Лерочка, о которой учителя честно говорили, что она звезд с неба не хватает. Разве что в английском.

— А зачем вообще хватать звезды? — смеялась Татьяна. — Пусть остаются на небе.

Элю она упорно привечала, звала в дом — теперь он был у нее, пусть и не такой, о каком мечтала, зато свой, точнее мужа. Она покупала ей подарки, объясняла про Вову в середине слова, но Эля так никогда и не простила свою учительницу самую из всех любимую. Она ее так любила! Феей считала и даже не верила долгое время, что Татьяна Степановна, как — пока не встретила ее однажды на выходе из кабинки. На двери была наклеена красная буква Ж, похожая на растрепанный веник.

— ...Вот он, смотри! — Ольга не утерпела, издала показала Татьяне дом. Он стоял на углу и вид имел неказистый: изба поставлена, как часто на Урале, на голую землю, на четыре камня. Два окна смотрят на скат и не видную издалека — на улицу Ленина-с-бородой. Палисадник окружен забором — как будто лыжи составлены одна к другой. За крыша, дряхлые ворота.

Дом угрюмо молчал, не спешил откровенничать с Татьяной. Ему было что скрывать, как, впрочем, и двухкомнатный Свердловске, куда муж привел ее жить двадцать лет назад. О, то была особенная квартира — злая, разобитая, несчастная.

Поначалу Татьяна всерьез решила, что квартира ее ненавидит: и полки на голову падали, и поскользнулась на пороге, пропадали, нужные книги и учебники — вдруг просто исчезали и далеко не всегда появлялись снова.

Мама, Мария Петровна, ставшая к старости верующей, советовала освятить квартиру, но в то же время совсем не размышляла:

— А может, сделано здесь на тебя, Таня? Как ни крути, отца ты из семьи увела.

Мама не приняла зятя, она даже внуков любила не так, как могла бы. Татьяну это не печалило — ей сполна хватало внимания, чтобы желать такого своим детям. А квартира боролась с ней целый год — и однажды, когда в очередной раз в ванной, именно в тот день, когда ждали гостей, Татьяна решилась на серьезный разговор.

Выглядело это, конечно, нелепо: беременная Татьяна стоит в коридоре и гладит рукой стену:

— Ну что ты, в самом деле? Почему ты меня не любишь? Тебя обижали, я знаю. Не заботились. Запустили. Теперешнему. Я сама — совсем другая. Хочешь ремонт? В комнатах сделаем побелку и накат. Серебристый. Или золотистый? Какой хочешь?

Квартира призадумалась. Помолчала пару дней. А потом решила поверить хозяйке — и не пожалела. Татьяна с своим городским жилищем — никогда не скупилась на то, чтобы порадовать квартиру подарком. Ну и ремонт, конечно, один. Беленые стены с накатом, модным в семидесятые, опять оклеили обоями, да и те обои — уже в прошлом. На за четырехкомнатную, но как-то слишком уж долго обещали — поэтому Татьяна затеяла еще один ремонт. Всё делала потому что умела всё, спасибо маме.

А потом в их чистенькую, добрую, свежую квартирку, как и во все другие дома страны, пришло лунное время. Оно

А потом в их маленькую, деревянную, светлую квартиру, как и во все другие дома страны, пришло дурное время. О думать теперь не следовало — платили бы зарплату. Так ведь не платили!

Сколько всего случилось за каких-то полтора года! Как это уместилось в такой ничтожный промежуток времени смогла понять. Вполне приличная, по советским понятиям, бедность стала нищетой. Муж превратился в истерику; помогать, причем срочно, а не ждать от него помощи. То же самое происходило у подруг — Алка однажды с горечью семье — мужнина. Я работаю, я учу с детьми уроки, я добываю продукты.

Татьяна долго не хотела бросать школку, но потом ей пришлось выбрать — свои дети или чужие. Решив договориться со своей знакомой — Фарида работала директором продуктового магазина, и Татьяна время от времени ходила пару банок сайры, курицу или еще что. В тот день ей достались и курица, и яйца, никого не учившие, но дефицита на Уралмаше, этот район был для Татьяны словно бы еще одним, отдельным городом. Она в нем честно ничего не покупала, как в потемках, даже ясным днем. Вот и теперь — вышла из магазина Фарида, нагруженная, и не сразу Бродила по уралмашевским дворам, опускала глаза: навстречу попадались крепкие ребята, только и ждавшие, чтобы для начала взглянуть. Они так странно ходили — заметно раскачивались при ходьбе, как моряки в кино.

Наконец вышла к трамвайной остановке. Трамваи почему-то не ходили. Татьяна дошла до вокзала, возненавидев яйца — плевать, кто из них был первым. Чтобы остыть, успокоиться, вспоминала зимнюю картинку — маленькая Лер теплые пальчики к замерзшему стеклу. Вначале делает следы подушечек, а потом — всю остальную лапу, ребром правдоподобный отпечаток на трамвайном стекле — через этот след отлично было видно, какая черная зимаю ночь в Свердловске.

Что будет дальше, непонятно. Чем кормить детей, неизвестно — еще и Фарида сказала больше не приезжать. Нет чтобы печка, огородик. Соседка, Любовь Ивановна из консерватории, вон, уже буржуйку купила. Если рубленый будешь печкой не пропадешь. Пересидеть дурное время...

Прокормиться от земли.

Ольга постучала в гнилую калитку уверенно и громко, но открыли им не сразу. Хозяин — с печатью сидели вытатуированными перстнями на пальцах — всё делал подчеркнуто неторопливо. Заросший травой дворик, очень понравился сразу. А вот дом молчал так, словно ему зажали рот. Татьяна почувствовала, что начинает громко сопеть, если человек ей неприятен, но слова — под запретом. У хозяйки глаза метались по лицу, как тараканы по гробу при разговоре присутствовала древняя старуха, безмолвная, как индейский вождь, и белокрысы мальчишка лет Татьяна решила спросить о чем-нибудь безобидном. И не придумала ничего лучше, чем узнать имя.

— Вова, — шепотом ответил мальчик и тут же исчез с крытого двора. «Вова из середины слова!» — подумала Татьяна, вздыхая. Что, в самом деле, как маленькая? Люди бывают разные. Дома продают не каждый день. За такие деньги их вообще не продают!

Ольга давно вела переговоры, хозяйка с глазами-тараканами возражала, но без особой страсти, а старуха тоскливо Морщины на ее лице были глубокие, как истинное горе. Сиделец в разговоре не участвовал, но слушал женщин вникал в язык. Что это значило — неясно.

Дом отдавали задешево — потому что дед помер, а бабка вот-вот помрет, и нужно срочно делить наследство, обслужалась открыто и деловито — присутствием ее никто не смущался. Малуху и третью (не половину, как говорили устывают Татьяне, а на оставшейся территории построят нормальный, как выразилась хозяйка, дом).

— Забор вот здесь поставим, — показала хозяйка, когда они вышли на огород. Татьяна проследила за ее рукой — линию на собственной спине, будто кто-то провел пальцем вдоль позвоночника.

Ольга бубнила недовольно: земля у вас серенькая, вот у нас, на той стороне, чернозем. Хотела выгадать еще какую-нибудь подругу, но Татьяна не чувствовала благодарности. Ее удивило молчание дома и эта несчастная старуха, что молчал Татьяна и сама не понимала — хочет ли теперь его покупать? Хотя глупость какая, конечно, хочет! И этот Вова, с его шепотом — тоже каким-то белым, неслышимым — хороший ведь знак! Белый шум, Горный Щит — всё складывается хорошо, потому что слишком уж долго всё было плохо!

Они договорились, Ольга и хозяйка с глазами-тараканами, а прочие изображали, что им будто бы всё равно — хотя те, и другие. Хозяева знали, что малуха не стоит даже таких денег, каких они просили, а Татьяна поверить не могла, что свой кусок земли. Да что там — кусок Земли! Можно выстоять. Картошка, верный друг, не даст пропасть.

— Спасибо тебе, Оля! Я всегда буду теперь помнить, что ты — в очках.

Одно только смущало Татьяну — дом так и не сказал ей ни слова.

На следующий же день, как были подписаны документы, Татьяна повезла детей знакомиться.

— Вот наша избушка.

— Фу! — честно сказала Лерочка. — Какая-то старая развалюха. Я думала, будет дом, как у Полины в Верхней Сыктывкарской shit.

Дочку учили английскому, брали уроки у молодой выпускницы иняза — она заставляла Лерочку смотреть кинофильмы в оригинале.

Татьяна незаметно погладила бревенчатый бок дома — извинилась за Лерочкину грубость. Митя был умнее, тактичнее:

— Дом как дом. Пойдем, мам, покажешь, что нужно делать.

«Делать» — отныне это было главное слово в жизни Татьяны. Наконец родители могли быть довольны своей дочкой — она работала в Горном Щите так, что им не было стыдно за нее на том свете. Где они, возможно, всё так же соревнуются с ближайшими соседями.

Той осенью, когда купили дом, Татьяна устроилась репетитором к цыганской девочке. Всё было предельно просто: красного кирпича на улице Шекспира, мужчины, не снимавшие норковых шапок даже дома, золоченые люстры, лупы торговали шубами — они лежали прямо на полу, как дань, мягкая рухлядь, ясак, оторванный от сердца. В доме было много женщин — и у каждой имелась собственная комната, отделенная от общей шторой. Посреди зала стоял видеомангофон, с шумом перематывающий пленку, — смотрели цыгане только индийское кино.

Татьянина ученица — бровастая девочка Зарина — училась плохо, у нее не было ни способностей, ни желания. Цыганские дети только в начальную школу — читать-писать научат, и хватит с них. Но Татьяна работой дорожила — платили и давали с собой банку икры или шмат осетрины в оберточной бумаге. Сделав уроки с Зариной (точнее, за Зарину — выяснилось, от нее и ждали), Татьяна прямо от цыган уезжала к Южной подстанции. Там пересаживалась на 110-й автобус привычной дорогой в деревню.

Дом в Щите был по-прежнему молчалив, проговорился лишь однажды — да так неожиданно и страшно, что Татьяна не сразу поняла, о чем речь. В один из первых дней после того, как хозяева съехали во времянку, Татьяна обнаружила в сених картонные пачки паспортов. Самые разные паспорта — действующие, с пропиской в Свердловской области.

— Ворованные? — испуганно переспросила Татьяна у дома, но он не ответил. Тогда Татьяна отнесла коробку бывших в употреблении паспортов на почту, а сама пошла в милицию, чтобы сдать их. Там ее встретил милиционер, который в те времена говорил примерно в тех же выражениях, что и о бандитах.

Вот так всё и шло у них. Дом угрюмо молчал, а Татьяна — работала. Муж сразу объяснил ей, что он городской человек, у него аллергия. «Может, приеду как-нибудь летом», — милостно обещал он. Лерочка — та была с девочкой, которая

Санчик? Его мама? Или, может, бывший хозяин с его татуировками и краденными паспортами?

Татьяна боялась, но не хотела расставаться с этим домом. За четыре года сюда было вложено столько труда, ее денег, столько надежд на лучшую жизнь! Впрочем, жизнь и без Горного Щита становилась получше. Муж нашел рабконттору бывший коллега. Платили вначале вещами, это называлось «бартер», но потом появились и деньги. Лерочке к шубу и капор из енота. Обновки были к лицу студентке — пришлось разориться на репетиторов, зато дочь поступила с первой же попытки на романо-германское отделение, которое только что открыли. Выбрала итальянский язык. И вот теперь оканчивала уже третий курс.

— Я здесь жить не собираюсь, — сказала недавно Лерочка. — Найду мужа в Италии, и чао!

Представить дочку в Горном Щите было крайне сложно — она в любую погоду носила узкие юбки и высокие укрепившись в звании добытчика, потешался над сельхоздостижениями жены — горсткой первой клубники, бес вечными братьями укропом и петрушкой, пучки которых Татьяна всучивала каждому гостю, все-таки доехавшему до ее дома.

Жизнь шла, и Это продолжалось, хотя иногда таинственный подлец стихал на несколько недель. Зимой он вообще не как только Татьяна открывала новый сезон — тут же открывал следом свой. Топтал грядки, швырял навоз по дстен туалета — чувствовалось, что он повторяется, выдыхается.

— Ты так говоришь о нем, как будто жалеешь! — возмутилась Ольга. Она втайне от подруги устроила как-то во время Татьянинного отсутствия. Не спала всю ночь, но пакостник так и не явился. А жаль — Ольга принесла с собой то и оставила его у Татьяны в голбце, на всякий случай. Там лежал, оставшись от прежних хозяев, оживший и разобрал словарь народных говоров — пестерь, ребристый деревянный рубель, техло, камышовые маты, драные крошши и древняя пайва, в которой уже не принести домой не то что Машу с пирогами, но даже грибов для жарёхи. Сплошное ремьё — хозяйева выбро Татьяна оставила из вечной своей нерешительности. Она тяжело расставалась что с людьми, что с предметами.

Татьяна вернулась наутро, решила остаться до субботы — решилась, точнее. Ночью ее разбудил стук: в окна — ка — били камешки. Кто-то орал истошным голосом, она боялась выглянуть. Сползла с кровати, нашла топор, обнял думала, что делать, если они полезут сразу во все окна. За дверь не боялась — там был кованый крюк, вдетый в массивную петлю.

Сидела так почти час, пока Это не прекратилось.

— Оно никогда не прекратится, — сказал тогда Дом, и Татьяна выронила топор, и он упал на пол с тяжелым тупым хоть не на ногу. — Мне больно, между прочим! — возмутился Дом.

— Почему ты раньше со мной не говорил? Я столько для тебя сделала, другой постыдился бы!

— Не говорил, потому что надеялся — ты и так догадаешься. Разве легко такое сказать?

Он скрипнул половицей, как будто вздохнул и собрался с силами.

— Тебе здесь не место.

— Почему это?

— Потому.

— Это не ответ. Скажи, кто меня так не любит? Кто пакостит?

— Не скажу, но объяснить кое-что считаю долгом. Ты помнишь, как деревня зовется?

— Конечно. Горный Щит.

— Щит — орудие защиты. Тот, кто Это делает, защищает свой дом — и выгоняет чужих.

— Я не чужая! — возмутилась Татьяна. — Я честно купила и тебя, и огород! Ты что, сомневаешься?

— Не я, — рассердился Дом. — Тот, кто Это делает, не мыслит документами.

— А как он мыслит? — спросила Татьяна.

— Никак.

— И снова — не ответ!

Дом замолчал.

— Эй, — позвала Татьяна, но с ней больше никто не разговаривал.

На другой день она собралась уехать в город пораньше, но опоздала на автобус и вернулась.

В доме кто-то был — Татьяна шла на цыпочках в комнату и слышала, как там шоркают тряпкой, будто кто-то из грязь с пола. Но, конечно, гость не оттирал грязь — он возил помойной тряпкой по чистенькой беленой печке, разма: петушков, как размазывал бы живых ногою по полу.

Татьяна увидела гостя — и тут же всё поняла.

— Наконец-то, — пробурчал дом на прощанье. — А вообще, ты мне нравилась! Встретиться бы нам пораньше... Эх!

И хлопнул форточкой, будто закашлялся — чтоб скрыть слезу.

— Оля, а ты почему без очков?

— Потому что в линзах! Раз десять уже рассказывала.

— А я так никогда и не помню — кто в очках, кто без очков.

Автобус дернулся на повороте, и пассажиры повалились друг на друга.

Татьяна смотрела в окно — надо же, как всё здесь изменилось! Храм отреставрировали, покрасили в канареечн уродливой массивной изгородью. Хорошо, что Малахов не видит. Дома посвежели, то здесь, то там — краснокир неожиданно походят на георгианские. Татьяна насмотрелась таких домов в Англии — ездила в гости к Лерочке, с Джанлуиджи в графстве Кент. Стиль цыганский-георгианский, подумала Татьяна, вспомнив Заринку с улицы Шекспи в Горном Щите уцелело, хотя прошло пятнадцать лет. Например, дорога, которая ныряет к реке, а потом поднимает трамплины. И, конечно, лес, где каждое лето цветут купавки, желтые и маслянистые, как профитроли. Кровохлеби иван-чай... Сейчас ранний март, нет никакого иван-чая. Обочины — в снегу, машины по-братски делят поплыв пешеходами. Собаки брешут в каждом доме — идешь как по клавишам, включая одну псину за другой. Как собака — по роялю.

Татьяна вернулась в свою школку той же осенью, когда продала дом в Горном Щите. Про себя она говорила так: «Щит». Вновь продолжила вечную борьбу за русский язык и битву за литературу. Опять упражнения, где нужно вст буквы — слова шамкали без этих букв, как с выбитыми зубами. Мальчишки, как и прежде, пускали петуха, рассказы потом писали бессмертные строки на партах, забывшись, как свои.

Лерочка давно причастилась любви и брака, после чего бросила мужа и уехала в Италию, где встретила Джан. припухлый, как младенец-переросток, Джанлуиджи всю жизнь только и делал, что ждал свою Лерочку — он сам так в прошлого года увез ее в Англию: там была и новая работа, и новый дом — с багряным плющом по фасаду.

Татьяна скучала по дочери, но не так, как по Мите: Лерочка могла вернуться, Митя — никогда. Ее Митя умер цел назад. И три месяца. Она всегда знала, сколько месяцев. Всего семь лет и три месяца назад он был жив.

По сравнению с этим все беды меркли, превращались в мелкие досады, камешки в туфлях — вытряхнуть и забыть. Муж ушел к молодой коллеге — забыла. Сама постарела за год — неважно. Камешки, всего лишь камешки...

— И зачем тебе приспичило сюда ехать, в самую чачу?

— Самая чача еще впереди! Ну не сердись, Оля, просто мне хочется еще раз увидеть тот дом.
Дом был такой же мрачный, серый, молчаливый. Маленький рядом с уродливым двухэтажным коттеджем. Похож на который с трудом ходит, но до смерти всё будет делать для себя сам. Татьяна подошла к воротам, погладила их.
— Заринкины ворота. Всё еще крепкие. Почернели только.
Ольга разглядывала двор через щелочку.
— Ты мне так и не сказала, почему его продала.
— Потому что узнала, кто гадил.
Ольга чуть не упала от возмущения:
— Да как ты могла, вообще? Столько лет молчала! Я ведь на той же улице, между прочим. Он и ко мне мог...
— Не мог.
Они пошли вдоль забора вверх. Татьяна жадно разглядывала заснеженный огород. Яблоньки не было. Совсем.
— А кто это был-то? Сейчас хотя бы скажешь?
— Мальчик. Помнишь, Вова?
— Сын хозяев, маленький блондинчик? Помню. Но почему?
Татьяна улыбнулась.
— Потому что это было домом. Ему никто не объяснил, что новое жилье строят для себя, не на продажу, и что он навсегда с бабкой в той временке. С ним вообще никто не разговаривал. Этот прокопченный, убогий дом был его присвоила чужая семья. В этом возрасте принять такую трагедию невозможно. Я забрала не просто дом — я детство стал бороться. Мстил как мог.
— И ты не стала жаловаться? — не верила Ольга. — Не пошла к родителям?
Татьяна промолчала.
И дом тоже молчал, но теперь им не нужно было говорить для того, чтобы понять друг друга.
Две немолодые женщины стояли у забора по колено в снегу и смотрели на пустой огород, где торчала у дальнего : туалетная будка. А потом пошли обратно, к дороге, стараясь попадать в свои же следы.

Теория заговора

Седьмой класс — это как седьмой круг ада, считал Пал Тиныч. Кипящая кровь — правда, не во рту, а в голове учителя. Измывательства гарпий — роли гарпий он, пожалуй, доверил бы сестрам-двойняшкам Крюковым и Даше Бывшевой, которая всё специально для того, чтобы не оправдать ненароком свое нежное, дворянской укладки имя. Кентавр — это у нас еврейский атлет Голодец, вечно стучит своими ботами, как копытами, а гончие псы — стая, обслуживающая полнотелого Мишу Карпова, вождя пору детства Пал Тиныча такой Миша сидел бы смиренным на задней парте и откликался бы на кличку «Жирдяй», а всегда утруждается дергать кукол за ниточки — они и так делают всё, что требуется.

У Данте было еще про огненный дождь — разумеется, Вася Макаров. Не смолкает ни на минуту, бьет точно в цель себя выжженные поля, никакой надежды на спасение. Пал Тиныч Васю побаивался — и сам же этим обстоятельством возмущался.

МакАров — так с недавних пор Вася подписывал все свои тетрадки, настолько занюханные, что походили они не на ученика, а на обнаруженные чудесным образом черновики не очень известных писателей — покрытые пятнами, грибом — обидой, что не признали. Полгода назад, на истории, Пал Тиныч рассказывал про Англию и Шотландию, переск Скотта — читать его седьмые всё равно не будут, как бы ни возмутило сие прискорбное известие автора «Уэвер» («Иванхое», глумился Вася Макаров). А вот в пересказе этот корм пошел на ура. Даже Вася, отглумившись, заслу проступали, как водяные знаки на купюрах, героические мечты, а рука отняла у соседки по парте Кати Саркисян чертить в ее же тетради — девчочковой, аккуратнейшей — шотландский тартан. Пал Тиныч видел, как в мыслях Васи личного герба: единорог, чертополох, интересно, а собаку можно? У Васи жил золотистый ретривер.

Школа, где преподавал Пал Тиныч, звалась лицеем. Сейчас есть три способа решить задачу про образование: мож лицей, можно в гимназию, а можно — в обычную школу. Последний вариант — не всегда для бедных, но всегда для людей, не осознающих важную роль качественного образования в деле становления личности и формирования из нее человека, тоже, в свою очередь, способного в будущем проявить ответственность и формирование — два люб слова директрисы лицея Юлии Викторовны, с которыми она управлялась так же ловко, как с вилкой и ножом. А бю как высил опытными путем Пал Тиныч, — это не только раздражающее уродство, но и успешным переговорам, а так. достижению поставленной цели (и это тоже — из кухонно-словесного инвентаря Юлии Викторовны).

Прежде историк говорил с директрисой в своей обычной манере: мягко шутил, чуточку льстил — не потому что на что женщина. Цитата, комплимент, «это напоминает мне анекдот» и так далее. Увы, Юлии Викторовне такой стиль бы слушала Пал Тиныча, как музыку, которая не нравится, но выключить ее по какой-то причине нельзя. Она вообще его замечала — ну ходит какой-то там учитель, разве что в брюках. Насчет мужчин в школе — вымирающий вид, у, раритет, — у нее было свое мнение. Юлия Викторовна предпочитала работать с дамами: она понимала их, они — е ответственности шло без малейшего сбоя. Директриса, кстати, и девочек-учениц любила, а мальчишек только лишь т боль, — от мужчин одни проблемы, с детства и до старости. Вот разве что физрук Махал Махалыч — тощий дядька с у как гуменцо, плешью — даже будучи мужчиной, проблем не доставлял. Его формирование происходило при советс Юлия Викторовна зацепила самым краешком юности — так прищемляют полу плаща троллейбусными дверцами. Пре что-то сомнительное или, на его взгляд, смелое, Махалыч прикрывал рот ладонью, звук пропадал — и физ переспрашивать: «Что-что?» Тогда Махалыч делал глазами вначале вправо, потом влево и повторял свою крамольно руки ото рта — но это было неважно, ведь он никогда не говорил ничего на самом деле сомнительного или смелого. С было тяжким, Пал Тиныч давно свел его к двум — трем вежливым фразам, а вот директрису историк приручил — и са это у него получилось.

Тогда он пришел к Юлии Викторовне с очередной просьбой — и, в очередной раз, не своей, Дианиной. Хотел нач интеллигентный пассаж, шутка-каламбур, — но сказал вдруг вместо этого следующее:

— Прошу вас верно оценить сложившуюся ситуацию и пойти навстречу молодому специалисту Механошиной Д которой требуется выделить средства для поездки ее в качестве руководителя школьного ансамбля в Германию.

Директриса смотрела на него во все глаза — как будто видела впервые. Как будто иностранец залопотал вдруг на еще и уральской скороговоркой.

— Я не возражаю, — произнесла наконец. — Мы изыщем средства.

— Благодарю за оперативное принятое решение. — Внутри у Пал Тиныча всё смеялось и пело, как бывает в перг отпуска на море.

— А по какой причине Механошина сама не явилась? — насторожилась Юлия Викторовна.

— Сегодня Диана Романовна отсутствует по семейным обстоятельствам и попросила меня довести до ваш информацию.

Директриса кивнула и попрощалась — лицо у нее было как у королевы, которая раздумывает, не дать ли ему поц дала — лишь подровняла с шумом пачку бумаги на столе, и так в общем-то ровную.

Пал Тиныч вышел из кабинета и почувствовал, что радость исчезла — более того, ему вдруг захотелось срочно бы прополоскать рот, чтобы произнесенные слова не прилипли к языку навсегда. Но было поздно — он принял. Стыдно, зато тебя понимают. И Диана была рада: родители лицеистов давно отказались складываться на поездку дл то есть своих-то отпрысков они оплачивали беспрекословно, но включать в стоимость Диану не желали. Кризис ник кто родом из деваностых, — они всегда начеку.

Родители — поколение первых в стране богатых и будто бы свободных людей — обладали в лицее истинной власть как водится. Именно эти избранные решали, какой учитель достоин преподавать в лицее, а какому лучше перейти в о жена Пал Тиныча, работала как раз в обычной — и честно не понимала, в чем разница между двумя этими заведениями же, в чем-то лицей даже хуже — вот в Ритиной школе каток больше и актовый зал просторнее.

— Зато у вас детей по тридцать пять человек в классе и контингент по месту жительства, — заступался за лицей Пал Тиныч.

— И что? — сердилась в ответ Рита. — Мне, по крайней мере, не объясняют, кому какие оценки нужно ставить. И как вешают. которая «не довела до сведения администрации конфликтную ситуацию». Девочка Соня написала полугодс два — и учительница решительной рукой нарисовала и в дневнике, и в журнале кровавого лебедя. А девочка была не месту жительства, но дочь могущественной Киры Голубевой, главы родительского комитета, дамы без возраста Голубева — она сейчас учится в одном классе с Макаровым и сестрами Крюковыми — дурнушка с крепкими икрами и шуршит обертками от шоколада, будто не на урок пришла, а на балет.

Сонина мать явилась на следующий день после двойки, еще до первого звонка зажала биологичку в лабора покаяться, принести извинения — лалонка к грови брови вверх. А она начала спорить: ваша девочка не знает ниче

покай себя, принести извинения — ладошка к груди, срови сверху. А она нашла спортив. Ваша девушка не знает ни к урокам сидит с отсутствующим видом. На слове «отсутствующий» биологичка сбилась, это слегка смазало впечатление.

— Она ничего не знает, потому что вы не научили! — сказала Кира Голубева, и палец ее смотрел прямо в сердце бника не могла понять, что происходит, — бубнила всё мимо, не то.

— Я подаю лицу такие деньги не для того, чтобы моя дочь сидела на уроках с отсутствующим видом! — повысил слове «отсутствующий» не сбилась, устояла. Ей не улыбалось болтать с этой дурой так долго — да ей вообще этим ут Ваша задача — сделать так, чтобы Соне было интересно. Не получается — ищите подход. Вам за это платят, и платят в обычной школе.

Биологичка хотела что-то сказать, но поперхнулась словом и просто чмокнула в воздухе губами — как будто Голубеву. На другой день в кабинете установили видеокamеры — Кира хотела знать, как продвигается дело по биологией. Дело продвигалось вяло, Соня зевала, хрустела челюстью, и потому через месяц училку пришлось уволить китарским оркестре за каждым скрипачом — стояла длинная очередь претендентов.

Пал Тинычу не нравилось засилье родительской власти в лицее — но он прекрасно понимал, что революции здесь б и эволюции. Разве что деволуция и девальвация. Если жизнь его чему и научила — а ему с детства мама предска обязательно обломает сучья и наподдаст по всем местам, — так это терпению.

Он терпел Риту — хотя она подтрунивала над ним, потешалась, насмехалась и сколько бы еще глаголов вы продолжение ряда, все они здесь подходящие, берем — заносите!

Он терпел Диану — пусть она была ему временами совершенно непонятным и чужим человеком. Терпел коллег, (даже седьмой класс с литерой «А»). Терпел кроткую зарплату — Кира Голубева заблуждалась: платили в лицее немн обычной школе, а он к тому же посылал часть Артему, тайком от жены. Терпел он и обратную дорогу с ярмарки, и чем от юности, тем больше требовалось терпения, но он справлялся: он вырабатывал терпение, как тополь — кислород последняя тема урока у злополучной биологички, «сосланной» в обычную школу, — деревья, кислород и так далее.

Пал Тиныча в его терпении поддерживала вера — но не та, которая всех нас обычно поддерживает, с той верой у не складывалось. Зато была другая.

Теория заговора.

Рита особенно насмешничала по этому поводу — что он подозревает всех кругом, начиная с председателя прове заканчивая английской королевой.

Раньше, когда они были молоды, и Рита вставала каждое утро на час раньше, чтобы накраситься и сделать причес ложилась обратно в кровать и открывала глаза красиво и томно, как в фильме, где даже безутешные вдовы носят рос вот, раньше, когда они были молоды и Тиныч, уходя в ванную, всегда включал воду до упора — чтобы не оско неуместным звуком... Да что ж такое, невозможно слова сказать — тут же проваливаешься в воспоминания, как в лов еще раз: когда они были молоды, Пал Тиныч делился с женой своими наблюдениями и мыслями, и она его внимательно слушала.

— Какое у вас красивое тело! — говорила жене массажистка, а Пал Тиныч ей терпеливо объяснял: всех массажистк лстить клиентам, чтобы они пришли еще раз именно к этому специалисту.

Или другой пример. В девятых, когда они только начинали жить вместе, Артему было года три, рядом с их дом Раньше там работала «Пышечная», Пал Тиныч с детства привык смотреть на очереди под окном — со всего города п пышками. А теперь — казино с традиционным названием «Фортуна».

— Ты не обратила внимания? — обращался Тиныч к жене. — Ровно в восемь ту дорогу, мимо казино, перебегае Каждый день!

— Придумываешь, — отмахивалась Рита.

— Ничего подобного. Они специально выпускают черную кошку, чтобы суеверные люди сворачивали в эту «Фортуну».

— Да что за бред, и почему ровно в восемь?

Рита смелела год от года, а Пал Тиныч так же год от года учился молчать о том, что видел, — и никто не мог его п бред или глупости. Он не был сумасшедшим, а идея его навязчивой считаться не могла — он ее почти никому не н конечно, менялась, как любое искреннее чувство, становилась со временем всё мощнее и масштабнее. Вера в заговоры помогала объяснить всё, что происходило вокруг, даже самое нелепое.

В последнее время Рита морщилась, стоило Пал Тинычу лишь упомянуть о «Комитете 300» или заговоре нефть прекратил эти упоминания. Хотя находил повсюду новые и новые свидетельства. И как историк, и как мыслящий человек.

— Не вздумай забывать этим голову Артему, — приказала Рита. — Хватит с меня одного заговорщика.

Артем был ее сыном от первого брака, так что Рита имела право командовать. Хотя если бы спросили Артема — з дурацкий вопрос, который нынче, в свете новой психологии, исключен из традиции, — кого он любит больше, мам затормозил бы перед ответом ни на секунду. Разумеется, папу! Мама с пятого класса пыталась сослать его в суроро оно оказалось под завязку укомплектовано наследными принцами из олигархических семейств, не справившихся с главным в жизни делом — воспитанием. А папа всегда был с ним рядом, ему можно было рассказать всё — и не бояться получить по губам шер потом еще и огрести наказание, которое могли бы взять на карандаш даже строгие британские воспитатели из закрытых школ.

У Пал Тиныча был простой подход к воспитанию. Он считал, что родитель — неважно, родной или нет — должен свое дитя как можно большему. Покуда знания, умения и навыки усваиваются — учить да учить. И терпеть, конечно.

С Артемом было сложно, это правда. Терпения уходил двойной запас — как у батареек на морозе. Исключительны думал о сыне Пал Тиныч. Это он сейчас так думал — а лет десять назад руки чесались по всей длине, как говорится сердце — ходуном. Он сам ведь тоже был не подарок, мама не зря его в детстве пугала жизнью-дровосеком. Но терпе мальчика. А вот Рита прикладывала ему почем зря.

— Ты же учитель, ну как так можно! — увещевал Пал Тиныч, но в ответ летело воинственное:

— Уйди с дороги, а то и тебе прилетит!

В самых тяжелых случаях Пал Тиныч уводил Артема из дома, они сидели на пустой веранде в ближнем детском саду.

— Ты пойми, — говорил Пал Тиныч, — хорошим быть выгоднее, чем плохим.

— А плохим зато интереснее, — считал Артем.

С этим было трудно спорить, но Пал Тиныч пытался. Артем его слушал, поглощал слово за словом — как голодный не может остановиться, всё ест и ест, хотя давно не лезет. Слушал и грыз кожу вокруг ногтей — пальцы у него были о зайцами. Раньше мальчик жевал бумагу — отрывал от книг и тетрадей, портил обои, потом начал есть сам себя. Пал головоломку, чтобы крутил в руках и отвлекался — и вроде бы помогало, но уже через день он ее обронил где-то и кожу.

Пал Тинычу было так жаль Артема, как большинство из нас умеет жалеть лишь самих себя. Мальчик был умен не статусу — и не понимал, что надо скрывать этот факт даже от мамы, потому что его не простят, как и талант не пр Артем был еще и красив — даже слишком красив для мальчика, и Риту это обстоятельство тоже почему-то раздража

Артем был еще и красив — даже слишком красив для мальчика, и Риту это обстоятельство тоже почему-то раздражало. Пал Тиныч понял почему.

На веранде говорилось легко, не зря их так любили хулиганы в девяностых. Пал Тиныч, правда, в конце концов высказывался не сам от себя, а включал, например, Шекспира.

— Входят три ведьмы, — начинал Пал Тиныч, и Артем закрывал глаза, как старичок в филармонии — чтобы ничего музыки, то есть от Истории. История, которую рассказывал сыну Пал Тиныч, и история, которую он преподавал пяти и десятилетним, сливались воедино — и получалось так, что Артем знал гуманитарную линейку лучше некоторых учителей об этом. А учителя — обижались.

Пал Тиныч и сам отлично знал это чувство — когда подготовил урок об инквизиции, например, навывдумывал загадки детям, которых развлечь без компьютера практически невозможно, — и вот на полуслове тебя сбивает с мысли Макаров:

— Полтиныч, а я видел Папу Римского! Он няшка!

Все они были в Риме, в Париже, сестры Крюковы плюются от Англии и считают Швейцарию скучной. Даша Бывалая проводит в Испании, у Карповых — дом в Греции, а что здесь такого?

— Да-да, Вася, я рад за тебя, — говорит Пал Тиныч и пытается встать на ту же самую лыжню — но какое там, впереди кричит на ходу, оборачиваясь:

— А вы были в Италии, Полтиныч?

— Не был, Вася.

Седьмой гудит, не верит. Как можно не бывать в Италии? Уже даже дети учителей туда съездили — правда, на другие родители.

Дети лицейских учителей — особая разновидность школьной породы. Учатся лучше других, привыкли к повышению спрашивают чаще, это правда, и еще они с детства перециклены на том, чтобы соответствовать одноклассникам. В манерах. Это сложно, крайне сложно для родителей. Поэтому Артем учился в Ритиной школе, и даже ту ему с трудом давалось. Да, Шекспир, да, общий гуманитарный фасон выдержан, и даже математику дотянул — Рита за ним следом цыплёнком. Но гонор какой! Высочка! Учительница природоведения из Ритиной школы даже написала ему в конце через весь дневник нелицеприятную характеристику, и Рита перестала с ней здороваться, свистела при встрече учительница природоведения была как тумба, и не только на Артема осерчала, но еще и позавидовала самой Рите пятнадцатилетнему паспорту. Вот эта зависть и вылезла из нее чернильными каракулями — бывает. На детях все это очень удобно.

Сейчас Артем живет далеко от них, перебрался вначале в Питер, потом в Китай. Пал Тиныч сам ему посоветовал: в расставании с матерью будете жить мирно. Так и получилось. Рита даже гордиться им понемногу начала — фотографировала в школе, вот Артем в Сиани, вот Артем в Лояне. Но стоит мальчику приехать — и, как в песне, начинается сызнова.

Всё мог понять в своей жене Пал Тиныч, кроме вот этой странной нелюбви к сыну — даже, он сказал бы, ненависти объяснить это тем, что Рита не любила первого мужа, но нет, даже очень любила. Отец Артема был из околобандитских ранних девяностых. Красивый хмурый парень — Пал Тиныч часто смотрел на его карточку, вставленную между стеклами, он занимался, с кем имел дело, Рита особенно не рассказывала — но однажды открыла, что Сережа покончил с собой, скрывала этот факт, считала самоубийство чем-то постыдным — вроде неприличной болезни. И это тоже казалось Тинычу никогда прежде не сталкивался с таким отношением. Потом понял, в чем дело: Рита считала, что у хороших не застрелишься. А если у нее застрелился, значит, она жена плохая. И все скажут, подумают, осудят, будут показывать сами знаете. Жить в обществе и быть свободным от общества по-прежнему нельзя, хотя уже и необязательно помнить автора цитаты.

Но сын, сын-то почему? Ведь удивительный, уникальный ребенок! Читать в три года начал. В девять лет — с переводом. Китайский выучил — теперь думает, оставаться там или в Европу ехать. Чем он ей так не угодил?

— Так она дочку, наверное, хотела, — сказала однажды Диана и попала, как это у Дианы обычно и бывает, прямо в цель.

Пал Тиныч и сам часто думал: мы живем в эпоху женщин. Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики, предпочтения уцелели разве что в Китае. Сейчас все поголовно хотят девочек. Дочек. С ними проще, это правда. Без исключения (Крюковы, например), но в целом девочки слышат, что им говорят, они обладают врожденным послушанием вместо него положена агрессия, и она хранится в одном месте с тестостероном, не цепляют столько вредных привычек, девочки — в той же системе интересов и ценностей, к которой приписаны женщины, главные воспитатели современных жизненных удовольствий, комфорт. Танцы, романтика, наращивание прядей натуральными славянскими волосами, однажды это объяснение по телевизору — и такого себе напредставлял, что пришлось идти к Рите за разъяснениями. Мир — в городской его версии — гораздо лучше приспособлен для женщин. К мужчинам он предъявляет такие требования, которые выдержит. Женщины — мамы, бабушки, учительницы и воспитательницы — первым делом выпалывают из мальчишки агрессию, не понимая, что это не сорняк, а ценный злак. Пал Тиныч иногда разрешал Артему покомандовать — именно чувствовал, что имеет право это делать. Рита же всегда ломала сына — жестоко ломала. Она мечтала о дочке Арине, а тем, что у нее мальчик, а второго ребенка ей Бог не дал. Не дают таким второго — потому что они первого не любят. Диана ее раздражала — она видела на его месте так и не рожденную Арину, красивая была бы девочка!

Зато у Артема был лучший в мире папа — слова «отчим» мальчик ни разу в жизни не произнес, он и значением его не знал. Хотя по части значений разных слов всегда был на высоте. Поправлял учителей, если те ошибались — в слове «аг» падает на третий слог, Майя Давыдовна, а роман этот написал не Уайльд, а Стивенсон. Подсказывал нужное слово в дороге от мыслительного к речевому аппарату. Пал Тиныча беспокоила нервная разговорчивость Артема — но, в отличие от верил, что этот вывих вправят в военном училище.

Рита сердилась, когда Пал Тиныч входил в детскую ночью и слушал дыхание сына — ему всё казалось, что тот крепко спит. Он боялся за него, мучительно жалел в отрочестве — самом уязвимом возрасте, когда сам себе не рад. Прищипывал, и от тенора к басу, вечный страх, что родители вдруг сделают что-то не так при друзьях, будут выглядеть смешно, опозорятся так же доверял отцу, но стоило появиться сверстнику — менялся, грубел, грубил. А потом вырос, повзрослел, уехал, китаянка. Пал Тиныч скучал, писал письма, отправлял деньги. Нелишние, пока учится.

Место, которое осталось пустым после отъезда сына, оказалось каким-то уж слишком большим — его нельзя было заполнить жизнью, ни работой. Пал Тиныч смотрел по сторонам, видел озлобленную Риту, которую он всё равно никогда не бросил, и прошлепывал все эти дни-годы впустую, будто это и не годы, а страницы, которые скроллит в своем планшете Вася Макаров.

Потом на одной странице случился сбой системы — в лицей пришла Диана.

Пал Тиныч отлично помнил этот день. Было так: сидит он в лицейском буфете. И тут входят три ведьмы — Кира Гавриловна, одна в розовом и блестящем, другая — в черном и клепаном.

— Видели новую по музыке? — спросила клепаная. Многодетная мать, между прочим, Пал Тиныч имел честь обучать

отпрысков.

— Нет пока, — заинтересовалась Голубева, не сразу почувствовав, как розовая и блестящая дергает ее за рукав — зашла в буфет и осветила его своим невозможным мини. Пал Тиныч пролил на стол кофе. Клепаная выронила всю ме-
дети, которые стояли в очереди за плюшками, начали подбирать ее, стуча лбами.

— Это еще что такое? — вымолвила Кира Голубева, не с первой попытки придав лицу нужный презрительный
вначале удивленный, а потом завистливый).

— Это наш новый учитель по музыке, Диана Романовна! — крикнула одна из Крюковых, кажется, Настя.

Диана покраснела — чудесным, ровным румянцем, не то что Кира Голубева: у той в припадках злости прост
неопрятные красные матерки. Южная Америка на правой щеке и Австралия — на левой. У Дианы даже румянец был совершенство.

— Ну и титаники, ничего так, — снизошел до новой училки Миша Карпов. Пал Тиныч сделал вид, что не замет
уткнувшейся в беззащитную спину Дианы — и трепетавшей там, как стрела. Бесполезно замечать — такие, как Миша
родителей, всегда вне подозрений и замечаний. Миша, кстати, не такой уж и злой человек — и не такой назойливый,
от того даже школьная уборщица, дама не из робких, прячется в туалете. Заболтать МакАров может насмерть.

Пал Тиныч однажды оставил Васю после уроков переписывать тест по Смутному времени, попросил посидеть
психолога. Та давно строила куры истории и потому согласилась, а когда Пал Тиныч, пообедав под ледяным взгляд
вернулся в класс, психолог стояла над Васиным столом и криком кричала:

— Да алкаш он, Вася! Обычный алкаш!

— Что у вас происходит, Олеся Васильевна? — испугался Пал Тиныч. По пищеводу, как в лифте, стремительно лете
и так-то плохо прожеванная.

— Сама не знаю, — объясняла потом психолог. — Он меня вывел как-то неожиданно на разговор о моем муже. Спр
как взрослый! Ну надо же! Хорошо, что никто не слышал.

Пал Тиныч подумал — и решил: пусть «никто» так и останется никем. Не стал рассказывать ничего Васиной мам
любила, когда с ней говорили о сыне. Если ругали — расстраивалась, если хвалили — не верила. Она редко быв
вызывали ее часто. Слишком сложным был ребенок, даже по современным меркам. Хитрый, лживый, ленивый -
увильнуть от выполнения обязательных работ доходил почти до гениальности. Но если ему было что-то интересно — прилипал намертво,
как дурная слава. Чем-то он напоминал Пал Тинычу Артема — хотя внешне ничего общего. Артем тощий, как марафс
что, склонен к полноте, из кармана торчит вечный пакет с сухариками. У Артема, как у Риты, — темно-рыжие волосы,
бестия. Наверное, в отца пошел, мама у него совсем другая — тоненькая печальная девочка со стрижкой, которую
называли «Олимпиада». Вася уже давно был выше и шире своей мамы. И вот эта девочка, на вид лет двадцати, — И
пришла однажды после уроков к Пал Тинычу и сказала:

— У меня давно созрел к вам разговор, Павел Константинович.

Она поймала его на выходе из класса. Мимо бежал еврейский атлет Голодец — полы под его ногами пружинил
матрас. Остановившись у окна, этот румяный юноша примостил ногу на подоконнике, полюбил палец и начал отти
новых кедах — сразу было понятно, что они новые и что Голодец находится с ними в особенных, нежных отношениях.

Инна Ивановна тоже смотрела на Голодца, пока он не убежал наконец в столовую — там гремели ложки и коман
Карпова.

— Я не понимаю, что происходит с нашей школой, Павел Константинович, — сказала она, вновь четко выговарива
ни одного звука не пропало. Пал Тиныч вдруг вспомнил, что Васина мама работает в банке — ей это подходило. Ва
можно было бы доверить крупную сумму.

— А что с ней происходит? — бодро переспросил он вслух, выигрывая время на группировку и подготовку. Речь мо
невероятных вещах, потому что никогда не знаешь, что придет в голову родителям.

Из-за угла вышла, как месяц из тумана, мама двойняшек Крюковых. Она целыми днями бродила по школе, отлав
одному и пыталась их бесконечными расспросами. Ей страстно хотелось услышать про Дашу и Настю что-то хорошее -
только физрук Махал Махалыч. Крюковы и вправду были спортивные, рослые и здоровые девицы — даже в святые д
двойняшек привозили в школу, отому что они никогда и ничем не болели.

Крюкова посмотрела на Пал Тиныча, как голодная лиса на мышонка, и даже, кажется, облизнулась. К счастью,
Ивановна, а потому лиса неохотно свернула за угол. Месяц скрылся в тучах.

— Да много всего происходит! Вы разве не замечали? Программу по физике сократили. На русский всего три
английский — пять. Расписание составлял кто-то нетрезвый — потому что в седьмом классе во вторник и в пятницу
немецкий, русский и английский. И все задания нужно делать на компьютере, и все они теперь называются проектами и презентациями.

— Ну не все, — осторожно вякнул Пал Тиныч. — Вот я, например...

— К вам у меня вопросов нет, — признала Инна Ивановна. — А вот информатика... Зачем вообще столько инф
должны создавать свои аккаунты, на уроках они сидят в интернете. Мой Вася и так там живет.

— Но вы же в банке работаете? — уточнил Пал Тиныч. — Вам, банкирам, обычно нравятся новые технологии.

Инна Ивановна посмотрела на него ошеломленно.

— А кто вам сказал про банк? Вася? Ой, ну вы уникальный человек, Павел Константинович, вы всё еще верите моему
в библиотеке. Отдел редкой книги.

Пал Тиныч удивился, но решил, что редкую книгу он бы ей тоже доверил. Потом историк молча задал вопрос, и
вслух:

— За школу платит Васин папа. Бывший муж. Он и в Рим его возил, и в Париж... Слушайте, вас там, кажется, ждут.

Пал Тиныч обернулся, увидел Диану — она уже давно, судя по всему, стояла в коридоре, изображала, что изучает
на стене. Знакомое до последней буквы.

— Я понимаю, что мои претензии не к вам, — Инна Ивановна, закругляя разговор, стала мягче, почти извиняла
директору идти? Знаете, мне иногда кажется, что всё это — какой-то заговор. Против нас и наших детей.

При слове «заговор» Пал Тиныч вздрогнул, а Диана повернула голову, не скрываясь теперь, что подслушивает.

— Диана Романовна, я приду в учительскую через пятнадцать минут, — сказал историк, и его любовница вынужде
мимо на своих дециметровых каблуках — коленки у нее заметно сгибались при ходьбе. Пал Тинычу стало жаль Диану
Инны Ивановны, историк сказал, что у них совещание, но он может немного опоздать.

— Если речь о заговорах, то здесь вы попали на специалиста, — засмеялся он. Довольно нервно, впрочем, засмеял
юности был не из приятных, а с годами вообще превратился в какой-то чаячий крик. Риту он раздражал невозможн
напугал, но она терпеливо дождалась завершения смехового приступа.

— Мне кажется, — повторила она, — что вокруг делается всё для того, чтобы наши дети не получили образова
хорошего, вообще никакого. Программу сжимают, педагогов посреди года отправляют учить новые стандарты. I

ненавижу их!

Пал Тиныч тоже не любил школьные праздники — самодеятельные спектакли, в которых играли не дети, а в основном родители, беспомощные, несмотря на все старания Дианы, пение... А главное — ему было жаль времени, которое ушло на всех этих бесконечных праздниках осени, весны, матери...

— У моего Васи — никаких базовых знаний. И вы же в курсе, какой он — не захочет, не заставишь. Ну и потом, как не могу ему дать — только школа. А в школе из него делают, простите, идиота. Петя, рисовать и сидеть в интернете — пойдет? Кем станет?

У Тиныча был ответ на этот вопрос — Вася, как и многие наши дети, уедет за границу и станет иностранцем, позаботится.

Звонок прозвенел, мимо пронесся шестой класс, потом степенно прошествовали одиннадцатиклассники. Прыжок школьной гордости — Алексея Кудряшова — походили на зрелые гранатовые зерна. Пал Тиныч вспомнил злобных родителей, что Кудряшов «у репетиторов буквально живет». Будущий студент Оксфорда.

Васина мама тем временем говорила уже теперь словно сама с собой:

— Можно, конечно, нанять репетиторов, но зачем тогда учиться в лицее?

— А вот вас-то мне и нужно! — Пал Тиныч не заметил, когда рядом с ними вырос Махалыч. Физрук Васю терпеть предсказывал ему в жизни многие печали, потому что мальчик не любил футбол и не надевал на урок спортивную форму. Безропотно пошла, ведомая Махалычем, к директору — разбирать очередной Васин проступок. Они с ней даже не поговорили, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее. Диана предлагала поговорить, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее. Диана предлагала поговорить, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее. Диана предлагала поговорить, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее.

И был свежий воздух! В мае его навалом даже в Екатеринбурге — а тут еще рядом со школой липы на месяц раньше природы тоже был свой заговор. Пал Тиныч шагнул к своему любимому дендрарию — благо лицей был от него в двух кварталах, — шагнул и думал о странном разговоре с Васиной мамой — и о том, что она, пожалуй, даже сама не понимает, насколько права.

Историк стал вспоминать последний лицейский год — и всё, что прежде проходило по разряду неприятных случаев, обрело смысл и оказалось необходимым условием для заговорщиков, решивших лишить Россию образованного населения.

Подобно тому как птица вьет гнездо, собирая его по стебельку и соломинке и не брезгуя подобранным на ближайшем Пал Тиныч строил свою теорию — и мог бы напомнить случайному зрителю какую-нибудь ворону, гордо летящую к коктейлю в клюве. Да он и вообще мог напомнить собой ворону — у него был такой слегка сумрачный облик, нос-утес и Женщины подобная внешность, как ни странно, нравится.

Всё сходится, думал Пал Тиныч, мы живем в тени большого заговора — и тень эта растет с каждым днем. Наши компьютерными играми и сетевым видео — например, Вася давно уже ознакомился с процессом родоразрешения и на одном из уроков истории, посвященном Петру Первому. Миша Карпов с компанией смотрят порнуху на телефоне; отец об этом узнал, его заинтересовал исключительно один момент: а что за порно, с девками? Ну и отлично, у мальчиков ориентация, по нашим временам надо быть благодарным и за это. И вообще, нужно же когда-то начинать.

Пал Тиныч вдыхал натуральный и при этом несомненно липовый аромат и думал дальше. Детей учат мыслить картами — а ведь если эту стадию не перебороть вовремя, она так и останется спортивной, как сказала бы Юлия Викторовна. Он знал это по Артему — когда играли в шахматы, сын не мог думать даже на один ход вперед и тем более учить соперника. Дети мыслят разрозненными, несвязанными кусками, под которыми нет даже намека на какой-то фундамент, попросту нет, никакого. Диана рассказывала, что ее первые ученики считали, что Бетховен — это собака, герой гол. Сейчас этот фильм давно забылся, но и Бетховен истинный не вспомнился.

Заговор, решил Пал Тиныч, дойдя до центральной клумбы, еще не засаженной, но уже сладко пахнущей распаренными долгой холодной землей. Настоящий заговор, странно, что он сам до этого не додумался. Как бы ни насмеялась Рита. Диана. Зачем наших детей пытаются закрыть на ключ в интернете? Для чего окружают соблазнами, противостоять им взрослому? Почему всё это, в конце концов, служит, как выражаются врачи, «вариантом нормы»?

Пал Тиныч не считал себя педагогическим гением, тем более — спасителем русского народа или отважным одиозным протестом. Он считал себя тем, кем, собственно, и был, — учителем истории, мужчиной средних лет, который не жену к любовнице и никогда не перестанет помогать своему сыну. Но в тот день жизнь Пала Тиныча, предсказуемый учебный план, на глазах стала вдруг превращаться в нечто новое и ценное. Заговорщики подобрались так близко, что ощущать их ядовитое дыхание, шевелившее листья с дьявольскими планами — учитель явственно видел эти листы на столе.

Рита, наверное, не следовало так старательно высмеивать слабость, которую питал Пал Тиныч к заговорам. Она с интеллигентной озабоченностью поверит, что это всего лишь вопрос времени. Но в заговоры верят не только глупцы и фантасты. Довольно часто посещает тех из нас, кто не видит логики в окружающей жизни, не видит в ней смысла. Заговоры перестали для Пала Тиныча захватывающее приключение — которое так и не сбылось, хотя он честно мечтал о нем в детстве. Жюль Верн — все они обещали приключения, но на выходе получился производственный роман, написанный исключительно ради денег.

Теперь же Пал Тиныч сам мог стать частью истории, а не смотреть на нее через окно в Европу...

В американских фильмах, на диете из которых вынужденно сидит каждый кинозритель, вся массовка — читай, вся страна — часто и всегда взволнованно поднимается на защиту одного человека, попранных прав или ценного общественного подвизка звучит музыка — героическая, усиливающаяся с каждым тактом, — и на стороне героя, угнетенного и угнетателя, к финалу оказывается целая толпа. Так вот, Пал Тиныч готов был стать первым из тех, кто поднимется со своим вызовом порочной системе.

Он так переволновался, что не мог уснуть до трех ночи и стащил у Риты таблетку снотворного. Но спал всё равно видел, как борется с пластмассовыми солдатами — все они были трехметрового роста и побеждали.

Каникулы в этом году начались неожиданно и быстро — как весна в классическом русском романе. Пал Тиныч обязательный месяц — целый июнь писал программы, занимался с двоечниками, всё как всегда. Но вечерами о собственную программу — дерзкую и даже, на его собственный взгляд, бессистемную. Он вспоминал всё, что образованные люди, — музыка, философия, астрономия, поэзия, все музы лежали в его программе обнявшись, как те. Конечно, ему не хватало знаний — июль он провел в библиотеке, закрывая пробелы, а вечерами догонялся в интернете. Диана удивлялась его внезапному интересу к истории музыки, но всё еще надеялась на общее будущее и потому терпеливо рассказывала про Бетховена — даже про Букстехуде. В августе программа была уже почти готова, а сам Пал Тиныч — готов к тому, чтобы совсем потерял и так-то еле живой интерес к своей внешности, отпустил неряшливую бороду, и маленькая девочка внимательно разглядев ее, громко сказала своей маме:

— У дяди борода, как у тебя — пиявка!

Вечером он побрился, и на лице его убавилось безумия.

Второго сентября после второго урока Пал Тиныч пригласили в кабинет к директору. Юлия Викторовна была на распылках в своем бюрократическом красноречии мельчайших деталей, а Макаров проявляет тенденцию к улучшению.

Подобный зачин обещал запятую и последующее «но», и Юлия Викторовна не поддалась, но всё еще не за себе страничку на сайте лица. Очень прошу вас найти время и помочь нам реализовать этот проект в жизнь.

Прежний Пал Тиныч скромно кивнул бы и пошел за помощью к учительнице информатики — Оксане Павловне, которую просто Окса (имя, с точки зрения историка, больше подходившее реке, а не молодой женщине). Новый Пал Тинь эпицентре заговора, усмехнулся. Что это, как не еще одна часть хитроумного плана заговорщиков — все мы должны (родители, дети. За нами давно не надо шпионить, не надо тратить деньги на агентскую сеть и вербовку — мы успешно и охотно доносим сами на себя. Например, Диана как одержимая ежедневно отчитывалась в своих аккаунтах — что встречалась. Публикации сопровождалась фотографиями и ссылками, а потом Диана бдительно отслеживала — сколько человек оставили комментарии, кому понравились комментарии, и так далее...

У историка по сей день не было нигде ни странички — он даже электронную почту завел только после того, как пригрозила ему штрафом:

— Как родители должны с вами связываться, Пал Тиныч?

Тогда он зарегистрировал ящик и действительно получал иногда письма с вопросами «Что задано по истории?» и поздравительными виршами от учительницы литературы. Вирши были длинные, хромы, лишние слоги торча невыполотые сорняки, — а литераторша была обидчива и на другой день обязательно спрашивала, получил ли Пал Тинь открытку ко Дню защитника Отечества?

Второго сентября Пал Тиныч пошел после уроков не в буфет, где обедала Окса и ее приятельницы — литер англичанка, — а на школьный двор. Он знал, что справа в кустах, за гаражами, подальше от всевидящего ока высматривающих каждый «своего» пассажира, курят Миша Карпов и его гонимые псы. Макаров их обычно чурался, но оказался рядом — и как раз пытался прикурить.

— У меня к вам разговор, друзья, — сказал историк.

— А за сиги ругать не будете? — удивился Карпов.

— Буду, — пообещал Пал Тиныч, — но в другой раз.

Миша достал из кармана штанов коробочку «тик-така», потряс ею над каждой ладонью, после чего Пал Тиныч, к детей из кустов.

— Сергей, жди меня, — велел Карпов водителю, сидевшему за рулем очень новой и очень красивой машины — марки неведома. Его автомобильное развитие, а главное, интерес к подобным вещам остановились где-то на стадии «ож детства».

Пятидесятилетний на вид Сергей послушно кивнул. Он был маленький и краснолицый — голова над рулем, как на блюде.

— Вы куда это? — возмутилась Даша Бывшева. Она и Крюковы как раз закончили обед — на траве валялась гора к три баночки из-под колы.

— Если уберете за собой это свинство, можете пойти с нами, — сказал историк, не оборачиваясь.

Сзади сначала зашуршало, потом затопало — гарпии неслись следом, заинтригованные. Класс еще не успел раз собрал почти всех в своем кабинете и спросил:

— Кто из вас знает, кем был Макбет?

— Это герой Лескова, — предположила отличница Катя Саркисян.

Пал Тиныч вздохнул. Всё это будет значительно сложнее, чем ему казалось. И зря, наверное, он пошел с Шекспира. Еще и с Макбета.

— Входят три ведьмы, — начал Пал Тиныч. Дети молчали, слушали, но не так, как Артем. Катя Саркисян была очень хотела перечить учителю. Остальные мучились, скучали, даже Вася смотрел на историка каменными глазами. Пал забывал детали — получалась не высокая трагедия, но повесть, которую пересказал дурак.

— Зачем вы нам это рассказываете? — спросил еврейский атлет Голодец в том месте, где явился призрак Банко.

А Вася, предатель, стал издеваться, изображая:

— Я призрак Сбербанка!

Пал Тиныч ничего не ответил ни ему, ни Голодцу — рассказывал дальше, и постепенно к нему вернулась память. Целыми строками:

Лишь сыновей рожай.

Должна творить

Твоя неукротимая природа

Одних мужей!

— Это к ЕГЭ, что ли? — осенило практичного Голодца. Но Пал Тиныч не ответил — он всё тащил и тащил детей в Шотландии, где королева всё никак не может смыть с рук кровавые пятна.

Про пятна понравилось даже Карпову.

— Так-то нормально, — снизошел он. — А зачем нам это, Пал Тиныч?

Лишь после финальных слов Пал Тиныч объяснил: он теперь будет каждый день рассказывать седьмому какую-нибудь историю. Или про белого кита. Хотят они про белого кита?

— Главное, не про белого китайца, — пошутил Вася Макаров.

Седьмой «А» ушел в недоумении. Вася задержался рядом со столом учителя и почему-то шепотом сказал:

— Полтиныч, я знал, кто такой Макбет. Но если бы признался при этих быдлах...

— Я понимаю, Вася. Не переживай.

Пал Тиныч и раньше усложнял свои уроки — он давал русскую историю, которая шла по программе, параллельно хотелось, чтобы у детей было объемное представление, как сказал бы Вася. Теперь же он превращал каждую встречу ликвидацию черных дыр и белых пятен — по крайней мере в седьмом, своем экспериментальном, как он его называл про себя, классе. Пал Тиныч старался впихнуть им в головы всё, что упало с корабля — и пошло на корм рыбам, все ценные знания, прин самодетельности, тестам, интернету и заговору, всё, что он знал и мог им рассказать.

— Всё это есть в сети, — недоумевал Голодец, но Миша Карпов, которому чрезвычайно понравился Данте в вольн Тиныча, заткнул его встречным вопросом:

— А ты, Гошан, будешь читать это в сети?

Пал Тиныч освоил наконец, на радость директрисе, интерактивную доску и показывал семиклассникам репродук группировал не по мастерам, а по сюжетам, чтобы было интереснее. И понятнее.

Рождество, видите? Младенец Иисус в яслях. Да, Вася, это тоже важно. Обратите внимание: вместе с Марией, Иосиф

пастухами или волхвами (это волшебники, Вася) на каждой картине — осел и бык.

Электронная указка тычет в Боттичелли, Дюрера, Брейгеля-старшего и художника, чье имя звучит как у голливуд Бальдунг Грин. И вправду, всюду эта парочка — осел и бык. Зачем они здесь?

— Это мы зачем здесь? — продолжал сердиться Голодец, и Карпову пришлось швырнуть в атлета учебником истории. Попал!

— Я думаю, — почему-то шепотом сказала Соня Голубева, — что осел и бык на этих картинах — для уюта.

— Почти! — возликовал Пал Тиньч. — Они согревали своим дыханием младенца.

— А почему она вообще в таких условиях рожала? — строго спросила одна из Крюковых, кажется, Настя.

Пал Тиныч начал рассказывать про царя Ирода, показал Гвидо Рени, Маттео ди Джованни — избиение млад серьезный заговор, в который поверил Иосиф.

Дети молчали, Вася подбрасывал в воздухе карандаш — он всегда что-то подбрасывал, говорил, это помогает ему физру ходил с карандашом, и Махалыч боялся, что кто-то из детей напорется на него глазом.

— Жалко младенцев, — всхлипнула вдруг Даша Бышева.

А Даша Крюкова подошла к Пал Тинычу, когда он уже отпустил весь класс, и спросила шепотом:

— А дальше что было?

— Ты знаешь, Даша, что было дальше. Иисуса Христа распяли.

— Так этот Ирод его все-таки нашел? — гневно вскрикнула девочка, и Пал Тинычу вдруг стало стыдно, что он считал ее гарпией.

Он занялся с седьмым «А» три месяца — дополнительный урок каждый день, и никто не ворчал. Даже Голоде сменил гнев на безразличие — иногда и он прислушивался к рассказам Пал Тиныча. История, литература, кино, геогр сокращений и ограничений. Для администрации у Пал Тиныча, если что, была легенда — они готовят сюрприз к | выкручиваться, историк еще не решил.

В середине декабря седьмой привычно завалился в кабинет истории, и Вася МакАров уже подпер рукой щеку слушать, как вдруг открылась дверь и на пороге появилась Кира Голубева. Она была в чем-то черном и опасно уз движение, и что-то черное лопнет по швам.

— Мама, ты мне обещала! — закричала Соня.

— Я обещала сделать всё для того, чтобы ты получила хорошее образование, — сказала Кира — каждое слово отме которое дают в каплях. — Давно хотелось мне поприсутствовать на ваших дополнительных занятиях, Павел К возражаете?

— Нет. Пожалуйста.

— И не только мне, — уточнила Кира. За ней в класс вошло еще несколько родительниц — Тиныч заметил Крюк директриса Юлия Викторовна, Окса, даже Диана была здесь, смотрела в пол, как будто боялась запнуться.

Дамы расселись на задних партах, «на камчатке», как говорили в пору детства Пал Тиныча. Кто-то просто стс массовка, хор, кордебалет. Сегодня, по заказу Васи МакАрова, была тема — сюрреализм. Вася изменился в послед многое из того, что рассказывал учитель, но теперь он мог знать это на законных основаниях.

Кира Голубева засопела, уже когда на электронной доске появился первый слайд — вполне безобидный Дали.

— Скажите, Павел Константинович, а это есть в программе? — громко спросила она с задней парты.

— Нет, — ответил Тиныч. — В программе уже вообще почти ничего не осталось.

— Поняла, — сказала Голубева. — Вы считаете, мы должны быть вам благодарны, что вы тут насмерть пугае рассказами про смерть? Соня не могла уснуть после вашего Данте целую неделю, я даже водила ее на специальный тренинг!

Вася МакАров неприлично хрюкнул, а Соня заплакала.

— А вы, Кира Борисовна, не говорили Соне о том, что смерть существует?

— Это решать мне, а не вам! — взвилась Кира Голубева. Взвилась как кострами — синие ночи, или как соколы — слово. Диана напряженно рассматривала какой-то рисунок на столе, и, поскольку стол принадлежал отсутствовавш рисунок был, скорее всего, неприличный.

— Заканчивайте, Юлия Викторовна, — буднично велела Голубева и пошла прочь из класса, подцепив на ходу дочь з портфель. За ней потянулись все остальные: вначале учителя и родители, а потом — дети. Первым вышел Голодец, сиротливые вассалы Карпова, Даша Бышева и сестры Крюковы... Катя Саркисян поплакала, но ушла вместе со всем по-прежнему полулежал на своей парте, пока учитель не попросил его: пожалуйста, Вася, уходи и не волнуйся за меня.

— Я и не волнуюсь, — окрысился Вася. Хлопнул дверью.

Пал Тиныч остался в кабинете один, с электронной доски на него смотрел страшным взглядом Сальвадор Да позвонила Рита.

— Во-первых, приехал Артем, — сказала она. — С девушкой, которая по-русски знает два или три слова. Во-вторых подруга — Диана, кажется. Сказала, что у вас всё кончено и чтобы я подавилась. Это вообще нормально, как ты считаешь?

Пал Тиныч выключил мобильник, подумал — и выбросил его в окно. Мобильник мягко упал в сугроб, наверняка второй этаж. Бросить телефон легче, чем человека.

Когда Диана спрашивала, почему он не бросит Риту, если между ними давно уже не осталось ничего даже прибли: на любовь, Пал Тиныч отговаривался какими-то общими фразами. Правды Диана не поняла бы. Рита — при всей ее рез нетерпимости — была самым беззащитным человеком из всех людей в его жизни. За эту беззащитность, эту беспо обычно и отдают всё, что у них есть, — они за нее даже умирают. Она ценнее красоты, важнее ума, соблазнительнее денег.

Пал Тиныч никогда не бросит Риту.

И не спасет от заговорщиков ни одного ребенка.

Ни одного!

Он вышел из школы в полной темноте, и охранник посмотрел с интересом — видимо, все уже знали, что это послед историка.

Пустая парковка, днем забитая дорогими машинами, тишина в школьном дворе, под фонарем — каток, царство Махалыча.

И вдруг кто-то налетел на Пал Тиныча из-за угла и ударил его головой в живот — не сильно, но чувствительно. Учи понял — это Вася МакАров попытался обнять его и сказать этим объятием то, чего нельзя произнести словами.

— Не плачь, Вася, ну что ты! — мягко, как сыну, сказал он. — Ты и так всё знаешь, о чем я рассказывал.

Он говорил это, но понимал, что Вася плачет не о том, что Полтиныч не успел открыть ему какие-то тайные зн потому, что его ровесники их не знали и теперь уже не узнают.

Дети всегда остаются детьми — но это, конечно, слабое утешение.

Пал Тиныч довел Васю до дома, благо жили Макаровы всего в двух кварталах — а вот, например, Карпова возили в город. На прощанье мальчишка, как большой щенок, опять уткнулся головой, на сей раз в бок.

— Я вас никогда больше не увижу, — сказал он, всхлипывая.

Пал Тиныч дождался, пока Вася зайдет в подъезд. В окнах светились украшенные елки, и учитель вспомнил прош праздник — роль Деда Мороза должен был исполнять папа Крюковых, директор завода, краснолицый богатырь. переусердствовал с разогревом, и пришлось выпускать на сцену семейного водителя — он был худой и маленький, | как на заборе, но в остальном он справился на ура.

Как хорошо, что приехал Артем с невестой — ее зовут Ян, «ласточка».

Пал Тиныч шел домой и думал, что сегодня он навсегда перестал быть учителем — и в утешение ему останется только теория заговора.

А возле казино дорогу ему перебежала черная кошка.

Умный мальчик

Последняя неделя августа, остаток лета — словно кусок торта, единственный на блюде. На клумбе бесновались пираты, аромат проникал в палату даже через закрытое окно.

Вместе с криком «Нина!» в окно постучали. Нина выглянула — увидела подругу и ее заплаканную дочку Милу. Мила называла мебельными именами. Нина сразу решила, что ее мальчика будут звать по-человечески.

— Поздравляем! — закричала подруга, и на нее тут же шикнули из соседней палаты, где родились близнецы. Подруга боевике, развернулась к шикающему окну, но тут у нее, к счастью, зазвонило в сумке. И Милана канючила, тянула нок у девочки — на зависть любой солистке.

— Заткнись, — рявкнула подруга и тут же захихикала в трубку: — Беллочка, привет, это я не тебе!

— Маш, может, позже зайдете? — спросила Нина. Подруга жила в двух шагах от роддома и, не прекращая слушать, (Близнецовая мама даже не поняла, как ей сегодня повезло.)

Над колыбелькой нависла нянечка — та, что дежурила позавчера. Голова у нее была трехцветная, как у счастливой рыбки, собственные черные и седые волосы торчат из-под чепчика.

А сын такой маленький — его можно взять одной рукой, как котенка. Нянечка умело перепеленала мальчика и неумело похвалила:

— Ничего такой. Но надо неврологу показать, обязательно. А как назвать, решила?

— Александр.

Невролога посоветовала Маша. Опытная матерёшка, — это она сама про себя так; Нина не стала бы. Она ко всем была почтением, даже если не за что. А вот матерёшка считала, что день потерял, если не удалось поставить на место официантку. Обнаглели потому что все. Нина сколько раз краснела за нее — не пересчитать. Правда, с врачами пошла все-таки соблюдала. Невролог Лариса Лавровна сказала, что придет на следующий день после того, как Нину с ребенком выпишут из роддома.

Мальчик лежал в убогой больничной колыбельке, красивый и строгий, до смешного похожий на своего отца. Нина и все новорожденные похожи на своих отцов — проделки природы или высший промысел, чтобы пробудить родителей тех, кто на них не способен.

Если так, то промысел, по мнению Нины, был не самый продуманный. Люди никогда не видят себя со стороны — сходства. Лишь только она пришла в себя тем утром — отец мальчика получил сообщение на пейджер, и ответил... в ответ новорожденным и желает счастья.

Хорошо хоть не любви и успехов в работе.

Отец мальчика живет в Киеве. «Младенец» по-украински — «немовля». Не говорящий то есть, а не просто маленький. Нравился украинский язык — красивый, мудрый, ласковый. И Киев ей тоже понравился сразу — она хоть сейчас могла любую видовую открытку. Хоть Андреевский спуск, хоть аллею в Ботаническом саду, хоть печального Владимира на картине — квартиру на улице Коминтерна, ныне — Симона Петлюры.

Выписывали в полдень, мама приехала в служебной машине, с розами и конфетами для «сестричек». Подруга Маша была мажорка как на фаянсовом портрете — с Миланой, Роланом и Глафирой притащили кучу воздушных шаров и размером с мотороллер. Крохотный пакетик с Александром Нина отдала маме — после разрывов нельзя было сидеть на заднем сиденье.

В машине властно пахло мамиными духами: аромат с кашляющим именем — тубероза. Александр было заплакал, тронулась — уснул.

«Неужели я всегда теперь буду чувствовать себя такой незащищенной?» — думала Нина, пока водитель поглядывал на маму молчала, держа кулек с внуком наперевес, как автомат. Или гитару. Клумбы с петуниями тянулись вдоль дороги, розовые цветы. Посреди лиловых вылез один незапланированно-белый, но его не вырвали — уж очень был красив.

Да, при водителе мама молчала, но дома, положив спящего мальчика в кресло — как коробку с туфлями, высказал в последние дни:

— С твоим образованием, с твоей красотой... Нина, я думала о тебе лучше! Ты, ты... просто как девка деревенская!

— А что плохого в деревенской девке? — удивилась Нина. — Я бы еще поняла, если бы ты сказала «гулящая».

— С твоим-то умом! — причитала мама. — Где ум, Нина? Где он?

А Нине вдруг стало весело:

— «Нет мозгов у тети Вали — очевидно, их украли!»

Мама хлопнула дверью, потом рамой на лестничной клетке. Курит. А ведь столько лет держалась.

— Вот он, мой ум, — шепнула Нина, заглядывая в кроватку. — Ты будешь самым умным, правда?

Невролог Лариса Лавровна пришла ровно в семь, как обещала. У нее было круглое розовое лицо, всё в черных родинках, случайно обрызгали тушью. И голос оказался очень громким.

— Почему вы на меня кричите? — удивилась Нина.

Лариса Лавровна тоже в ответ удивилась:

— Я не кричу! Просто у меня, мамочка, такой голос.

Она развернула Александра, малыш смотрел испуганно куда-то в сторону, поджал к животу тоненькие синие ножки.

Как будто Нина достала из себя сердце и показывала его, голое и мокрое, чужому человеку.

— Мальчик хороший, — услышала она, как из телевизора, голос врача. — Маша наговорила невесте что, а он у вас ребенок. Он у вас, мамочка, будет учиться на одних пятерки. Другие дети будут у него списывать, вот увидите. Отличник будет! Медалист!

Она туго запеленала Александра и вручила его Нине, как букет цветов.

— Это очень умный мальчик. Я столько детей в день вижу — я знаю. Я у них всё вижу по глазам.

На прощание Лариса Лавровна посоветовала придумать малышу какое-нибудь домашнее имя.

— Сейчас волна идет — сплошные Александры. Надо отличаться.

Нина придумала — Шур. Три первые буквы фамилии его отца, который остался на мысленных видовых открытках в саду, на Андреевском спуске и на улице Симона Петлюры, бывшая Коминтерна.

У него были необыкновенные руки — невесомые, легкие и ласковые, точно у карманника. Нина, кажется, и увидела — они гладили кошку, в гостях. Гости были случайные, скучные. Нина сама не помнила, как туда забрела. А он сидел на кошке — будто рисовал у нее на мордочке дополнительную шерсть.

Кошка умирала от блаженства.

Потом он пошел провожать Нину, а через месяц она прилетела к нему в Киев. На то время, что жена и дочка прове-

потом он пошел проволочить нитку, а через месяц она приехала к нему в Киев. На то время, по жене и до сих пор, украинская ночь... И Нина тоже умирала от блаженства — но не умерла, а даже привезла с собой в родной город еще одну жизнь.

— И что, Лавровна так и сказала — умный? — не поверила Маша. — Она всех ругает, а потом назначает по сорти массажей. А у тебя, значит, умный?

— Извини, — устыдилась Нина.

Мама тоже не приняла новость всерьез.

— Ум, Нина, проявляется во многом и по-разному. Я не пытаюсь принизить авторитет доктора, но она как-то уж очень разбрасывается прогнозами.

Шур рос спокойным мальчиком. Нина иногда даже забывала о том, что он спит в соседней комнате. Правда, чей своего рождения он вдруг резко перестал спать вообще.

Маша, как опытная матерёшка, советовала бабу-травницу. Мама привела специалиста-профессора, очень важ бесполезного — Нине показалось, что живых детей профессор не видел уже долгие годы. Сама она к тому времени спать удавалось по несколько минут в день, короткими порциями. Так спал сам Шур. Он никогда не кричал, не сердился уснуть. Возился в кроватке, перебирал ручками погремушки. Сидеть и ползать начал вовремя, развитие соответствовало больничным карточкам. Но сна — не было.

И тогда Нина решила взять няню. Кроме того, чтобы выспаться, она хотела еще и как можно скорее выйти воспоминания о ценной сотруднице не выветрились из головы начальника. Вот только няня — не котенок бездомный возмешь. У Маши был печальный опыт, она не советовала чужих рук, но у Маши была еще и свекровь Зинаида Зин матерёшка за глаза называла Зинатуллой. Зинатулла была безжалостно аккуратной — однажды за пыльное перека Маша получила от нее полноценный нагоняй, хотя зачем заглядывать под кровать в квартире сына, никто не обязан жизнь проработала поваром в школьной столовой и поэтому пересаливала пищу — привыкла к большим объемам булочки — меньше пяти не съешь, честное слово! И дети ее всегда слушались. С такой Зинатуллой можно и без няни.

А мама Нины привозила ей раз в неделю сумки с провизией, и всё. Не могла она смириться, что ее Нина, ее отличница как выразилась однажды завучиха, так бездарно распорядилась собой.

— На что ты тратишь лучшие годы своей жизни? — мама так страдала, что выражаться могла исключительно проверенными фразами.

В детстве Нине все девчонки завидовали. Форменное платье у нее было плиссированное. Воротнички и манжеты ручной работы. А фартук школьный шили на заказ, в ателье. Мама всё это помнила. Сколько сил вложено в эту девочку! Сколько слез — сама ведь от многого отказалась, чтобы ее вырастить, одна, без помощи. Карьера заколосилась поздно и не хочется.

А Нина, дура, свернула с магистрали ровно в том же месте, что и мать.

В мае, точно к празднику Победы, Шур пошел. Не ковылял, как другие детки, заваливаясь, а сразу уверенно и четко пересек комнату.

На прогулке ему теперь не хотелось сидеть в коляске, и Нина ходила за ним, склонившись, как актер-кукловод. И милостиво соглашался порыться совочком в песочнице. Нина тут же спешила на скамейку — вот и сейчас поспешно женщинами. Они были маминых лет — но у мамы ботокс, тренажерка, Париж. А эти честно ничего не делали, чтобы Странно, но Нина чувствовала к таким женщинам симпатию, а не осуждала их за лень, как сделала бы мама.

На той, что справа, — заношенная, но еще недавно модная, несомненно, девичья одежда. Трикотажик, звезды из сумочки, тоже явно переданная маме щедрой дочкиной рукой.

Говорили женщины про знаменитый местный торт.

— Я не повезу, наверное, Галя. Торт как торт. Но если в подарок? Как думаешь?

— Он испортится, — буркнула Галя. — Ночь в дороге. И сейчас еще сколько просидим, до поезда.

— А я сразу энтеролу куплю, — засмеялась та, что справа. — Или вот что — я его сначала сама укушу, похожу час ребятам дам.

— Вы можете у меня торт оставить, в холодильнике. Я рядом живу, — предложила Нина. Хмурая Галя разгладилась и промолчала. А та, что справа, удивилась: ой, а в городе так бывает?

Ее звали Оксана Емельяновна. И всю дорогу до дома Шур ехал у Оксаны Емельяновны на руках, болтая по дороге, и за тортом в магазин бегала Галя.

Оксана Емельяновна и Галя жили в маленьком городе на севере Урала. О таких городах в столицах стараются не думать, например, о смерти. Как отгораживаются от дурных новостей: не думаешь — и нет их.

Правда, смерть потом всё равно придет — вопрос только в том, какая. И новости хорошими не станут. И маленькая Урала, сившийся до самого фундамента, — он тоже существует, пусть и никому не интересен.

Оксана Емельяновна вырастила дочь и сына, но потеряла мужа и работу. В город она приезжала редко — для нее Е Париж для мамы, поняла Нина. Съездить в «Икею» на бесплатном автобусе, пощупать ткани и поругать швы в какой-нибудь гамбургер в «Макдоналдсе». И купить домой торт, внукам.

— Ты с ума сошла! — возмущалась мама. Тема ума по-прежнему оставалась актуальной. — Как можно взять няню без рекомендаций!

Нина ее не слушала. И Машу тоже. Всё это было неважно — главное, Шур теперь спал ночью и еще днем — дважды по два часа.

Няню решено было оставить, даже когда Шур пошел в детский сад — мама заплатила вступительный взнос, купила скромный автомобиль. Зато Шур потом автоматически попадал в лучшую городскую школу.

Нина давно вернулась на работу, даже в аспирантуре восстановилась. Жизнь выровнялась, стала понятной, приятно предсказуемой.

Правда, мальчика в детском саду не хвалили.

— Вы не собираетесь забрать Сашу в мае, Нина Николаевна? — спросила однажды воспитательница. — Он не играет время с книжкой сидит. На прогулке один ходит. В праздниках не участвует.

Слава Богу, подумала Нина, я и сама в этих праздниках не могу участвовать, даже в качестве зрителя. Всё фальшь, больше правды.

Вслух она, конечно, ничего такого не сказала.

А дома спросила сына:

— Шур, ты выучил стихи для праздника?

— Выучил, — сказал умный мальчик. — Но это очень некрасивые стихи. Их явно не Пушкин писал.

На празднике, куда они всё же явились — еще и бабушка пришла, в шелковом платье, и Оксана Емельяновна, гордый Шур отказался выходить в центр зала.

— Я здесь прочитаю, сидя, — заявил он. — Не обещаю, что вам это понравится.

И снисходительно отбарабанил четыре строчки, скрестив руки на груди.

Чужие мамы оглядывались на Нину — смотрели кто с сочувствием, кто с осуждением.

Оксана Емельяновна громко аплодировала.

Оксана Емельяновна громко аплодировала.

Друзей у мальчика не было.

— Они все тупые, — говорил он про своих одноклассников, а потом и одноклассников.

— Все не могут быть тупыми, — спорила Нина, но Шур усмехался:

— Конечно, могут. Ты просто никогда не училась в нашей школе.

Летом после первого класса Нина решила свозить мальчика в Киев. После того поздравления восьмилетней давности вестей.

Отель заказали на улице Коминтерна. Весь отель — несколько комнат на третьем этаже крепкого старинного дома Нина. На стене висела плохая гравюра, вид Андреевского спуска. До квартиры, где зачали Шура, — три минуты не к направлению к вокзалу.

— У тебя что-то связано с этим городом, — заметил Шур. Он сидел в углу комнаты, в кресле. В руках — очередная попытка посмотреть, какая.

— Ваш мальчик столько читает! — восхищались другие мамы. Как всем нецелованным в смысле культуры людям, был для них символом наивысшей степени школьного развития. Хотя на самом деле это был просто ребенок с книжкой.

Они много гуляли, ходили теми же маршрутами, что и девять тощих лет назад. Владимир всё так же смотрел на спуск заполонили торговцы с сувенирами — туристов прогоняли сквозь них, как сквозь строй. А отца мальчика встретила Нина, конечно, мерещилось повсюду знакомое лицо, бежал по спине горячий страх. Еще подумает, что она специально случилось. И если бы Нина читала про свою жизнь в книжке, она расстроилась бы в этом месте и погрешила на писателя. Жизнь тем и отличается от книжки, что многие сюжеты так и остаются в ней — не востребуемые, выцветшие, и пожелтевшие не на кого.

Перед отъездом они отправились в Пирогово, был Медовый Спас. Черные и белые коровы лежали на траве, как шапки проигранной партии. На прилавке висела гора мертвых пчел.

— Подмор, — объяснил продавец. — На них можно настоечку сделать, лекарство.

Очень грустно было Нине в этой поездке. Она чувствовала себя такой же мертвой, как эти пчелы, — но из нее что-то сделается.

— Мама, — спросил мальчик, — ты тоже думаешь, что каждая душа — христианка?

Продавец подмора дернул плечом. К далеким деревянным мельницам уходила нарядная невеста с женихом, фотография чмокнула.

В воздухе пахло честным шашлыком.

— Я думаю, каждая душа — язычница, — сказала Нина.

— Да, — сказал мальчик. — Люди поэтому и ставят такие огромные памятники, как Родина-Мать, — они для них языческие идола.

— Почему тебе это интересно?

Шур улыбнулся:

— А это может быть неинтересно?

В родном городе их ждала наскукавшаяся Оксана Емельяновна. И мама Нины их тоже ждала — ей вдруг захотелось в честь дня рождения мальчика. Такой, чтобы не стыдно было. Катание на лимузине, полеты в аэротрубе, снятый на видео. Артисты будут играть для гостей, разумеется. Торт, фонарики с желаниями — их надо будет поджечь и выпустить в небо.

— И я, в белом плаще с кровавым подбоем, — сказал мальчик. — Отмените это, бабушка. Не сходите с ума.

Он был с ней на «вы», как и полагается обращаться к бабушке хорошо воспитанному украинскому мальчику. Но при этом не просил ни денег, ни дорогих подарков.

— Станный у вас мальчик, — говорили Нине.

Классу к пятому Шур стал заметно хуже учиться, но читал еще больше, чем в началке, — записался в три библиотеки, деньги тратил на книги. Компьютер, подозревала Нина, он знал постольку-поскольку.

А еще у мальчика появился друг.

— Придут сегодня вместе, — волновалась, рассказывая новость, Оксана Емельяновна. Она с утра жарила-парила, ожидается не два тощих школьника, а десять мужиков с рабочей смены.

Нина, впрочем, тоже волновалась. И даже бабушка решила заглянуть по такому случаю.

Наконец удар двух портфелей оземь в прихожей — будто мешки с камнями таскают, ворчала Оксана Емельяновна, в комнате, на глазах трех женщин, появляется такой же невозмутимый, как всегда, Шур, а с ним мальчик — красивый, неприятный. Бывают такие лица — всё в них гармонично и ладно, но хочется не восхищаться этой красотой, а забыть ее поскорее.

Может, дело было в карих глазах — они отсканировали Нину уверенно, как взрослые. Но она не позволила этой мысли. Это ребенок! В гости пришел!

— Мишка интеллектом не блещет, — аттестовал гостя Шур. — Зато в компьютерах разбирается, папа у него айтишник.

Слово «папа» Шур выделил устным курсивом, от которого у Нины поплыло в голове.

От еды мальчики отказались, Оксана Емельяновна едва не плакала. Бабушка тоже чувствовала себя «необслуженной» через весь город, привезла фрукты, конфеты, и что ей теперь, с нянькой чаи гонять? Шур и Мишка закрылись в детской, деловитые пощелкивания и утробный вой старого процессора.

Когда оскорбленная бабушка уже почти закрыла за собой дверь, в коридоре появился Шур.

— Бабушка, может, подбросите Мишку до метро? И еще, вы недавно спрашивали, что я хочу на день рождения. — Нормальный комп. А не эти дрова.

Учеба, кажется, наладилась, но теперь сын всё свободное время проводил у компьютера. Ему никто не звонил, на вопросы не отвечал, морщился. Книжки использовал только для того, чтобы проявить свое недовольство: когда Оксана Емельяновна позволяли себе сделать мальчику замечание, он единственным, верным движением — так деревенские косят траву — полки.

В конце шестого класса Нину вызвали в школу.

На столе у директрисы, похожей на мертвую пчелу, лежали несколько листов под скрепкой. Напротив Нины грызла кожу вокруг ногтей классная руководительница. И еще в кабинете присутствовал педагог по информатике, как он сам себя обозначил.

— Ваш сын, — сказала пчела, — виртуальными средствами оскорбил своего преподавателя.

Нина ахнула, развернулась лицом к информатике.

— Не туда смотрите! — взвизгнула классная. — Он сделал про меня игру, покажите ей, Полина Борисовна!

Директриса протянула Нине распечатанные листы. Подробное описание игры. Нужно попасть мячом в сладкую яму классной, явно взятую из какого-то коллективного снимка. Вместо мяча можно использовать помидор, грязную тряпку или тухлое яйцо.

Классная вдруг свистнула, за бортом, будто свернувшая ветка, — на самом деле, конечно, уже давно. Все себя ставит.

Классная вдруг схватила за горло, будто сдерживая рвоту — на самом деле, конечно же, плач. «Всю себя отдаю нехстати» вспомнилась Нине неизвестно откуда взятая фраза.

— Я не могу, простите.

Выбежала из кабинета. Молодая хорошенькая женщина.

— Не знаю, что нам с вами делать, — сказала Полина Борисовна. — На первый раз надо простить, конечно. Но извиниться перед Ольгой Ивановной. Чем она ему не угодила — уж и не знаю!

Педагог по информатике на прощание похлопал Нину по плечу — как ей показалось, одобрительно:

— Я все-таки поражаюсь, какой он у вас умный!

Нина пришла домой неживая, как будто ее били по лицу грязными тряпками и бросали в нее тухлые яйца — до стрел дома ее ждала еще одна новость. Оксана Емельяновна сидела в кухне и плакала.

— Ниночка, ты знаешь, я тебя люблю как дочку. Но я больше не могу. Ты ни при чем, это Шурик. Он стал очень грулым, как я говорю, что делаю. Он... жалуется, что от меня плохо пахнет.

Нина смотрела на эту большую, полную сил женщину и хотела только одного — удержать ее рядом.

— Какая ему нянька, — продолжала Оксана Емельяновна, аккуратно укладывая вещи на дно маленького, старого чемодана, — такой жених вырос! Сегодня послал меня на три буквы. Вот я и поеду, домой поеду, Нина. Прости, дочка!

Нина плакала вместе с ней, совала деньги, Оксана Емельяновна страстно отпихивала их, они обнимались — и в конце концов уехала, а вторая осталась лбом к окну встречать новую жизнь.

Шур пришел через час.

— Уехала?

— Как ты мог? — крикнула Нина. — Она тебя вырастила!

— Она дура, — спокойно сказал Шур. — Полное отсутствие мозговой активности.

— А что ты в школе вытворяешь? Меня сегодня вызывали к директору!

— Насчет игры, что ли? Ольга Ивановна тоже дура. Идиотка от рождения плюс расстройство психики.

— Зато у тебя психика устойчивая! Почему ты считаешь себя лучше всех, на каком основании? Кто дал тебе право судить людей?

Шур подошел к матери близко, нарушив всякую дистанцию — словно они жили в стране, где так принято.

— Если бы ты знала, как мне осточертело это право, — сказал мальчик. — Я отдал бы всё, чтобы стать таким, как другие.

К девятому классу он опять учился на одни пятерки. Особенно налегал на английский язык. Нина слышала разговоривающую по-английски — и вспоминала рассказ Куприна про японского шпиона.

А за полгода до окончания школы мальчик объявил, что уходит жить к любимому человеку. Любимым оказался не мальчик, а в белом шарфике — на вид лет сорок. На самом деле тридцать, просто себя не берег.

— Он гений, — объяснил Шур.

— Это преступление, кошмар! Я на него в суд подам!

— Успокойся, мама, конечно же, не подашь. И в школу буду ходить — от Олега добираться быстрее.

С ним было бесполезно спорить. Нина, отчаявшись, написала его отцу в Киев, на старый адрес. Пусть поможет хотя бы было ни совета, ни ответа. Рассказала Маше и маме. Машка сочувствовала, но слегка злорадствовала — ее дети, пусть зато к мужикам в шестнадцать лет не переезжают. Милана уже давно жила в мебельной столице мира — Милане архитектурный. Глафира училась в одиннадцатом классе, выиграла областной конкурс балльных танцев.

Мама с виду совсем не переживала, но сразу после разговора вызвала машину и куда-то уехала. А на другой день сын уже был дома.

— Бабушка неглупа, — сообщил он.

— А я?

— А ты моя мама. Тебе можно быть любой.

Нина хотела сказать ему в ответ то же самое, но не смогла. А сын смотрел куда-то в сторону, думал свое. Такой плечи широкие — рук не хватит обнять.

Бабушка согласилась оплатить учебу в Англии — и сразу после выпускных Шур улетел в Лондон. Провожать его приехал режиссер — зареванный, как маленькая девочка. Утирал глаза белым шарфом.

Нина и ее мама ехали из аэропорта домой — водитель, который вез их семнадцать лет назад из роддома, поглядывал в зеркало.

«Неужели я всегда теперь буду чувствовать себя такой одинокой?» — думала Нина.

А мама вдруг обняла ее и прижала к себе, как будто хотела отпечататься в ней навсегда.

В Кембридже Шур освоился сразу, ему дали прозвище «Русский гений». Маша, услышав об этом от гордой Нины, теперь была увлечена сразу и православием, и эзотерикой всех сортов. Сразу после крещенского купания звала к себе исповеди отправлялась к хиромантке. Она не видела в этом ничего странного и верила во всеобщую неслучайность думала о том, что вокруг — сплошная случайность. Зачем она, ее жизнь?

В конце мая, возвращаясь с работы через парк, Нина встретила врача Ларису Лавровну — она постарела, но была вполне узнаваема.

— А, помню вас, мамочка! Как мальчик?

— Студент, учится в Кембридже.

— Ну, молодец, мамочка! Я же вам говорила — это будет очень умный мальчик!

На громкий голос Ларисы Лавровны досадливо обернулась пара на скамейке — Нина глянула на них и обомлела: Киевца сидел в двух шагах и вытирал юной девушке уголки глаз — чистил их, как будто кошке. Нину он не узнал, и пошла прочь.

В песочнице сидел сосредоточенный малыш и ковырял песок лопаткой.

И целое лето, да что там — вся жизнь была впереди, как нетронутый торт в коробке.

Такая же

Бывают дни, о которых точно знаешь — они запомнятся на долгие годы.

Я ехал утренним поездом из города Ц. в город Л. Две эти буквы вместе — почти поцелуй. Странная ассоциация, для нетипичная. Я всегда четко отслеживаю свои ассоциации — за это, если не вдаваться в подробности, мне и платят. Ка чтобы я в эти подробности вдавался.

Местные поезда, как принято считать, никогда не опаздывают — но что-то я этого не заметил. Зато давно заметил человек становится терпеливее, легче переносит бытовые трудности, если можно, конечно, всерьез счи пятнадцатиминутное ожидание поезда. Но это не значит, что терпеливых людей подобные обстоятельства радуют. Отнюдь.

Я думаю, мало где еще можно так быстро узнать истинные чувства человека, как в аэропорту или на вокзале. катастрофы, опаздание, нежелание уезжать — всё написано на лицах крупными буквами, как слова н Ассоциация: «слова на стене» теперь чаще вспоминаются в связи с фейсбуком, а не с Библией. Неплохо, но не пригодится.

Примерно половина людей, ожидающих поезда, нахмуренно тычет пальцами в телефоны. Планета — постоянно такой. Записывать мысли нужно сразу, как только они появились — первое впечатление сильное, но не стойкое, ег хвост в полете.

Элегантная дама в черном пальто стояла рядом и выглядывала поезд, как любимого. Она, возможно, жила в город пока что не имел мысли вернуться, хотя город Ц. мне понравился. Я дарю себе города, как другие — женщин или, н охоту.

Сюжет с женщинами лично у меня сейчас пребывает в таком состоянии, что об этом лучше не думать. Но с тем, ч себе не думать, у меня еще более давние сложности.

Лучший способ забыть о себе — наблюдать за миром.

Люди на перроне всегда начинают шевелиться за минуту до того, как появится поезд. И в то утро мы тоже дружны будто хотели все вместе броситься на рельсы — но никто, конечно, не бросился. Евроэкспресс — длинная, серебрист хишной мордой.

Сейчас, когда я записываю эту историю — в городе Л., в маленькой душной комнатке, за письменным столом с л горит, — мне хочется сказать, что я сразу заметил ту женщину, которая зашла в вагон и села у меня за спиной. Увы! Я, от привычки себя обманывать, нажитой в юности, — и мне слишком тяжело дался этот опыт, чтобы я снова пустился граблями. В тот момент, когда я сел в поезд, меня, как и всех других пассажиров, интересовало лишь одно обсто я занять себе хорошее место, лицом по ходу движения, желательно у окна, и чтобы рядом никто не сидел? В крайнем случае «никто» может быть заменен тихим и чистоплотным молчуном. И пусть он сразу же уснет. Но не храпит.

Мне повезло, поскольку я сел у окна, по ходу движения — не выношу, когда нужно ехать задом наперед, ху ресторане спиной к двери. При этом мне, к счастью, не пришлось бежать и толкаться. Рядом села элегантная дам пошуршала с минуту газетой и уснула, когда мы еще даже не выехали за пределы большого Ц. Она не храпела, прг приоткрылся во сне, и это доставляло мне небольшое беспокойство. Я не люблю видеть чужих людей в интимных этом есть что-то недостойное и оскорбительное как для меня, так и для них. Потом дама удачно повернула голову, и приоткрытого рта. Я смотрел в окно. К сожалению, в отражении был виден не только пейзаж, но и я сам.

Женщина, которая сидела у меня за спиной, никак себя не проявляла. Обживаясь на новом месте, я оглянулся (тронулись, и увидел чью-то пушистую макушку. Даже не понял, что женскую — сейчас и мужчины могут носить такую был только в том, что человек сзади — брюнет или брюнетка. Моя бывшая жена тоже принадлежала к этой масти, и я широким кругом.

Как известно, в каждом самолете обязательно найдется младенец-крикун, в каждом лифте — человек, пренебрега а в каждом поезде — любитель обсудить свои дела по телефону или компания девиц на пике смеховой истерики. У не телефонный болтун, но они сидели напротив и отчаянно друг другу мешали: болтун в конце концов сменил ваго загрузили, достали каждая по бумажному пакету с провизией и грустно жевали свои сэндвичи — ни дать ни взять Почему они только что хохотали и вдруг все разом загрустили — этого я понять не мог.

Я плохо разбираюсь в женщинах, и это мое единственное слабое место — разумеется, сейчас я имею в виду раф жизнь. Между тем женщины — ядро практически любой целевой аудитории, говорю это как специалист. Вот пс ограниченные представления — я не всегда понимаю, что может понравиться женщинам.

Поезд ехал так, как я люблю, — решительно, но без лишнего разгона. Время в пути — два часа двадцать пять мн потратить его на работу. К несчастью, солнце как будто бы ехало в одном вагоне с нами — я сидел в эпицентре солн костре, и почти ничего не видел на мониторе. Нашел в портфеле темные очки, но они мне не слишком помогли, а вы идиотски, это было видно даже в оконном стекле. Еще у меня был с собой роман, который похвалил один мой коллега меня, возможно, потому, что я не слишком люблю беллетристику. Закладка не доплыла даже до экватора.

Я раскрыл книгу.

По вагону всё еще бродили пассажиры, которым не удалось найти себе место — или же оно им по какой-то причин Поэтому, когда сзади раздались женские возгласы, я не удивился.

Я удивился другому — возгласы были на русском.

Конечно, я знал, что мои соотечественники любят город Ц. и город Л., но всё же за неделю так привык к нег вздрогнул, как, бывает, вздрагиваешь, когда засыпаешь в неподобающем месте.

— Кошмар! — говорила та, что за спиной. — Это правда ты?

— Почему кошмар? — смеялась та, что пришла из другого вагона. — Я так плохо выгляжу?

— Ты замечательно выглядишь! Красавица!

— Можно я сяду с тобой? В том вагоне едет совершенно невозможный тип, ему звонят каждые пять минут разговаривает.

— Конечно, садись. Дай я еще на тебя посмотрю. Куда ты тогда пропала? Сколько лет мы не виделись?

Женщины говорили не очень громко, соблюдали вагонный этикет. Но я всё равно их отлично слышал, хотя и не именно из них кто говорит. Кажется, та, что сидела за мной, была рада встрече больше, чем та, что сбежала от телефо они вдруг начали пересаживаться, переставлять какие-то сумки, и я уже просто не понимал, кто есть кто... Тем более интонации, как у всех, кто имел общее детство. Заняться мне было нечем, и я просто слушал их разговор, как ради любил в детстве. Юную Джульетту на радио играла старуха с дрожащим голосом и задорными интонациями — но я пн что Джульетта и должна быть такой. Я очень хорошо умел себя во всем убеждать.

то Джульетта и должна быть такой. Я очень хорошо умею себя во всем убеждать.

— Мы не виделись, — сказала одна из женщин, — лет двадцать, не меньше. Но ты совсем не изменилась. Хот красивой. А была такая смешная, пухленькая.

— Мы все тогда были смешные. Нет, ну надо же! Встретиться в поезде. За границей!

— Я живу здесь уже семь лет. У меня муж родом из Л.

— Да ты что? А дети есть?

— Сын, три года. Поздний, жданный. Сейчас покажу фотку.

— Какой лапочка! На тебя похож.

— Все говорят, что на мужа. Но глаза мои, да. А ты замужем?

— Никогда не бывала!

Это прозвучало у нее так, словно «Замуж» — название страны, куда можно отправиться в любую минуту. Здесь их на камень, забуксовала. Женщины молчали, вздыхали — а я с удивлением понял, что жду продолжения. Хотя ниче пока что не рассказали, но эти их вздохи были похожи на попытки автомобиля, севшего на кочку, сдвинуться с мес беспомощно газующей машиной — вполне может куда-нибудь встать. Я записал ее в блокнот, не глядя, вслепую. Спя клонила к моему плечу, что мне очень не нравилось.

— Ты здесь по работе или отдыхаешь? — мать трехлетнего сына сдвинулась с места первой. Материнство делает р самых скромных.

— Отдыхаю. Всегда хотела здесь побывать. Шоколадные реки, сырные берега...

Они снова помолчали, и потом та, вторая, сказала:

— Всегда хотела и вот, приехала. Дело в том, что я скоро умру.

Я обернулся.

К счастью, они этого не заметили — кресла высокие, видна была только одна пушистая макушка. Женщина, котор по всей видимости, миниатюрной — или же сидела, съехав вниз и положив ноги на сиденье напротив. Но во втор меньше.

И я сразу же, поспешно отвернулся, чтобы они не подумали, что их подслушивают.

— Рак? — переспросила первая.

— Нет, ну что ты. Как можно. Это же банально.

— Подожди, я не понимаю. А что тогда?

— А ты разве не помнишь, что я всегда была очень болезненным ребенком?

— Не помню. Я же пришла только в девятом. Но что ты боялась быть как все — это да. Это я помню. А я, наоборо стать не такой, как все. Помнишь, вдруг стали носить короткие сапожки? У меня их не было, и я так убивалась! Именн меня не брали в стаю. Ой, я что-то не о том. Я просто растерялась. Мы так давно не виделись, и ты чудесно выглядишь...

— Я расскажу, если хочешь. Никаких секретов.

— Хочу. Только я сейчас добегу до туалета, ладно? У меня это всегда — если волнуюсь, то сразу нужно в туалет. Я быстро!

— Да ты не переживай! Прямо сейчас не умру. Но я выхожу в Б., так что не задерживайся.

Первая женщина неловко хихикнула и встала с места, я услышал, как она идет по вагону. К сожалению, туалет р ним, чем ко мне, — и она не прошла мимо. Тогда я подумал, что мне тоже надо выйти — пройти мимо одной и дожд другую.

Я очень хотел увидеть этих женщин.

Конечно, я уже придумал, как они выглядят. Как многие, я с легкостью узнавал русских женщин за границей произносили при этом ни слова. Русские всегда печальны, даже если они молоды и прекрасны. Печаль — такая же русского лица, как высокие скулы.

Первая женщина — назовем ее А. — обладает внешностью неправильной, но пикантной. То есть у нее слегка кур птичкой и короткая верхняя губа, поэтому рот всегда полуоткрыт, — но у А. хорошие зубы, и эта особенность идет в г вероятны веснушки. Когда она кому-то сочувствует, на лбу появляются две волнистые морщинки, похожие на м приблизительного равенства. У нее хорошая фигура, но она любит поесть, а для спортзала слишком ленива — пока генетике. Одета просто, но вещи у нее дорогие, добротные — такие можно носить лет по десять.

Вторая, которая скоро умрет — назовем ее В., — из тех невысоких худышек, которых и в пятьдесят трудно назват В. — блондинка, глаза обязательно черные. Такие женщины нравятся и очень высоким мужчинам, и тем, кого природа это я, в том числе, о себе. Невысокие мужчины могут восхищаться модельными девицами, но по-настоящему они малышек. Слегка игрушечных женщин. Моя жена была подобного сложения — то есть она и остается такой, просто относится, употребляется вместе с глаголом «быть» в прошедшем времени. Когда мы жили вместе, я любил смотреть она, к счастью, разбрасывала по всей квартире. Я убирал в шкаф ее крохотные туфли, поднимал с пола маленькие, каи и каждый раз восхищался ее изысканством. Всегда любил всё маленькое, детальное и сложное.

Эта женщина В. у меня за спиной должна носить что-то узкое и длинное, белое и бежевое — но, возможно, я с примеряю сейчас на нее гардероб моей бывшей жены. Хмурясь, она собирает лоб в три морщины — две вертикальные Число «пи».

У числа «пи» приблизительное значение, поэтому женщины за моей спиной были равны между собой.

Вот только одна из них скоро умрет.

Я встал с места, и элегантная дама вздрогнула, проснувшись. К сожалению, именно в эту минуту в вагон зашел ко сел. Соседка спала с билетом в руке, и я тоже приготовил свой, хотя был опечален тем, что не смогу выйти, — контрс нам, и мое исчезновение могло быть принято за бегство безбилетника. Да, мне очень хотелось посмотреть на женщин мои фантазии ложатся на реальность, — но я решил, что случай еще представится. Контролер был болтлив, разгова подробно отвечал на вопросы — и это замедляло его продвижение по вагону. Но дошел и до нас наконец. Он го немецки, и я отвечал ему тоже на немецком. Я хотел, чтобы В. была уверена в том, что в вагоне нет русских.

Элегантная дама убрала билет в сумочку и тут же снова заснула, а женщина А. вернулась на свое место как раз контролер проверял билет у В.

Потом, к несчастью, оживились девицы, давно съевшие свои сэндвичи, — и начали болтать по-французски. Когда по-французски, они мило надувают губки, но даже это их не извиняло, ведь французский лопот мешал мне слуша русском. У меня отличный слух, и всё равно история В. досталась мне в виде разрозненных кусков — благодаря э Поэтому мне пришлось додумывать ее на ходу.

А. слушала свою старую знакомую с таким вниманием, с каким почти никто никого не слушает. Большая часть у время — да вот хотя бы у этих девчонок-француженок — развивается по принципу «вытерплю чужое, зато озвучу с по настоящему озабоченной спикерщицей — она молчала, ела пирожки, и тонула, ела тирамису».

по-настоящему одаренной слушательницей — она молчала, где нужно, и уточняла, где требовалось.

А история была крайне запутанная, там многое следовало уточнить. Несомненно начало: А. и В. учились в оди выпускной вечер В. пришла в черном платье.

Все праздновали рассвет новой жизни в белых и розовых нарядах, а она вырядилась как на поминки. Кто-то из пошутил, В. оскорбилась и бежала с вечера, даже не получив аттестата. Потом его забирали родители (здесь хох Ночью В. в одиночестве бродила по улицам в этом своем черном платье, и ее предложили подвезти бандиты. Куда уго ехали в ресторан «Старая крепость». По дороге в ресторан В. пожаловалась тому, кто был за рулем, на учительницу, и наряд (и вдобавок поставила тройку по химии в аттестате), и бандит предложил поехать в школу на разборки, и, учительницу. Тогда в их городе легко и часто убивали. (Здесь опять французенки.) В «Старой крепости» она тан который оказался не настоящим мафиози, а кем-то вроде подпaska — и он полез В. под платье. Она вспомнила, что рассказала об этом своему кавалеру, жаль, что его это не остановило... У нее с детства было серьезное заболевание (: соседка и спросила, сколько времени). В. убежала, подвернула ногу, упала. Разбила колено в кровь. Ее бесплатно по, добрый человек, — сказал, что у него тоже дочь-идиотка.

В ту ночь В. твердо решила уехать из города. Ей казалось, что здесь с ней будет происходить только плохое. романтичный город в стране, уехала туда и сняла комнату — деньги ей дали родители. Зима в романтичном город вонючая, как подвал. Деньги быстро кончились, и В. пела в подземном переходе, а потом сочинила детскую сказку, нс одном издательстве. Днем она искала работу, но не попадалось ничего достойного. Любовь тоже не попадалась, хот: повсюду, как денежку на асфальте.

Мама умоляла ее вернуться (французенки отъели своим смехом приличный кусок). В. перебралась в самый дене страны, и здесь ей поначалу повезло. Она познакомилась с мальчиком, который присматривал за чужой дачей, когда в город. Они жили на этой даче с сентября по апрель, и там В. привыкла скрывать яблоки с дерева утром. Все дни се одинаково: В. вставала раньше мальчика, выходила в сад, и этот сад — сверкал! В. срывала яблоко с дерева, и ветк головой. Яблоко было холодным и до того вкусным, что радости хватало на целый день — а там уже подступало сле, новое яблоко. Зимой они просто терпели. Потом хозяева решили продать дачу, и мальчик вернулся в свой город, устроилась работать в двухэтажное здание. Первый этаж занимали кресла и диваны, как в мебельном магазине, и мужчина, который с утра до вечера пил кофе. В соседней комнате сидели В. и еще несколько девушек такого же воз никаких обязанностей, кроме того, чтобы приходить иногда в кабинет к мужчине и курить с ним сигареты.

Больше он ни о чем не просил, но однажды сказал В. с надрывом:

— С тобой так хорошо курится!

А она услышала — «журица».

Мужчина, с которым нужно было курить, платил немного, но В. присылали деньги родители — и спрашивали поступает в вуз. Она отвечала каждый раз по-новому, ночевала где придется, иногда оставалась внизу, на диванах. М. поступила в университет и получала повышенную стипендию.

Всё дело в том, что В. очень боялась сделать что-то так же, как все. Потому что, если делаешь как все, ты признае что принимаешь эту жизнь и понимаешь ее.

В. не понимала.

Однажды она целую неделю ночевала в мастерской у знакомых художников, пока они были в Крыму. В понеди работу, но мужчины там не было, а с первого этажа пропали все диваны и кресла. Другие девушки тоже пропал растворили в кислоте. (Французенки.) Одна знакомая предложила снимать комнату на двоих. Район оказался таким, жители годами не могли вспомнить, что живут в столице. У них там было всё нужное для жизни, включая кладбищ центр никто не стремился. По музеям, что ли, ходить? Так они не для того переехали! В. согласилась, потому что в снегом. Комната, которую им сдавали, была совершенно пустой — только у балконной двери лежал скатанный матра подозрительный запах. Девушки вытащили матраc на помойку, а ночью пришли бывшие жильцы и рыдали под двер пустили и отдали матраc, потому что в нем зашиты большие деньги. На помойке матраcа уже не оказалось, но бывши что сами во всем виноваты.

В. и ее знакомая перезимовали в пустой квартире, а весной В. гуляла по городу (сходила в музей, между прочим) и несчастную молодую мать с несчастным ребенком — они были похожи друг на друга и поэтому без конца ругались. В., сделала их счастливыми. Ее наняли жить и работать в эту семью. В родном городе умер папа, но В. не решилась попр нее в этой семье всё сразу же разваливалось. Она была няня им всем — и ребенку, и маме, и даже хозяину, хотя тот п В. в корыстных замыслах. Но потом и он полюбил ее, она жила у них и всегда была под рукой. Хозяин коллекционир умел им пользоваться: однажды чистил ружье, случайно выстрелил — и попал в В. Не очень страшно, но всё равно неп испугался, что отправил В. восстанавливаться на курорт в Э.

Это была ее первая заграница. В клинике доктора посмеялись над ее «ранением», но женщина, которая делал органов, так плотно сжимала губы, как будто боялась, что к ней полезет целоваться нелюбимый человек. В пер медицинского языка и, попутно, с немецкого оказалось — просто чудо, почему она до сих пор жива. Ей срочно нужен донор.

Такие операции тогда делали в столице, где жила семья неудачливого коллекционера. Они опять все переругалис что она вернулась. Хотя вернулась она в очень плохом состоянии. В. с детства сильно болела, подолгу лежала в боль момент ей это надоело — и она решила, что лечиться больше не будет. Сколько проживет — столько и проживет. И вот, по возвращении в столицу ей стало по-настоящему плохо, и хозяева заставили В. позвонить родителям. Сестра сказала, что готов прооперировали семь лет назад. (Французенки вдруг резко умолкли, как птицы. Будто поняли, что рядом с ними важном — пусть и на русском языке, таком сложном с его шипящими звуками.)

— Это была экспериментальная операция. Сейчас таких не делают. И всех, кого оперировали со мной вместе, ух должен каждый год показываться в клинике, и каждый раз мне удивляются, что я приехала. Только что не спрашии сих пор жива?»

Максимальный срок годности жизни В. — десять лет. Но она чувствует, что на самом деле этот срок меньше. Она х как...

— Как последний? — спросила А., шмыгнув носом.

— Как единственный, — ответила В. И высыпала перед А. еще целую горсть историй, правда, я слышал не всё — центральному вокзалу Б. и машинист сообщал об этом на четырех языках.

Детская сказка долежала до своего звездного часа — и В. проснулась если не знаменитой, то вполне обеспечеи памятник на могиле отца и купила на том же кладбище место для себя. Маме она подарила домик с садом, сестре — хозяину — коллекционное ружье (к сожалению, он застрелился из него через три года). Она путешествует и всё (причиной своих бед глупую идею надеть на выпускной черное платье.

А понял, что если прямо сейчас не встану с места, то шикседа не увижу В. Встань и пошел по дороге, но они сидели

я понял, что если прямо сейчас не встану с места, то никогда не увижу В. Я встал и пошел по вагону, но они сидели друг на друга, волосы у В. были длинными, падали ей на лицо, тогда как А. закрывала себе нос и рот ладонью от с Поэтом я их почти не видел. У А. были длинные полные ноги в красных туфлях. Больше я ничего не заметил, а когда снимали свои сумки с верхней полки. Я всегда бываю неловок, помогая дамам с багажом, поэтому прошел мимо и место. Оно еще не остыло.

— А ты как провела все эти годы? — спросила В. приветливо, хотя поезд уже остановился и многие шли к выходу.

— Да я как-то обычно их провела, — смутилась А. — Мне даже рассказать нечего. Муж, работа, сын. Университет Живу в Ц.

— Приятно было поболтать, — сказала В. — Может, еще увидимся, хотя — вряд ли. В свете сказанного.

Они встали с места, расцеловались.

— Знаешь, чего я хочу? — сказала вдруг В. — Я бы хотела еще раз на рассвете сорвать с дерева холодное яблоко.

А. стучала костяшками пальцев по стеклу, прощаясь с подругой. В. пошла в другую сторону от нашего вагона — я но потом она повернулась — и тогда я увидел ее лицо на секунду. Глаза у нее были черные, как я придумал. В детстве таких черноглазых людей, я думал, что они плачут черными слезами. И когда у мамы знакомой однажды потекла уверен, что это вытекают на щеки ее черные глаза — тогда я очень долго плакал и никому не мог объяснить, почему. В детстве я плакал точно так же сильно — когда увидел в цирке гимнастку под куполом. Она красиво качалась на трю музыку и была так прекрасна и хрупка, что я не мог этого выдержать.

В. ушла с перрона, А. перестала колотить по стеклу. Я приходил в себя и думал, что в этой истории меня смутила только одна деталь.

Она показалась мне лишней и неубедительной.

Яблоко.

Я отлично мог его себе представить, чувствовал, как оно ложится в ладонь холодным гладким боком, я видел даже которые разлетаются в стороны, как вода из неисправного душа! Но от этого яблока не пахло ничем, кроме выдумки.

Меня не смутил ни матрас, набитый деньгами, ни бандит, обещавший убить учительницу, ни даже горе-коллекционер няню. Все они вполне могли быть и, скорее всего, существовали на самом деле. Всё имело право на существование.

Кроме холодного яблока на рассвете.

Поезд тем временем тронулся. В наш вагон зашла юная мама с девочкой лет пяти, а следом за ними — высокая же смотрел по сторонам — и видел вокруг себя одних только женщин! История невидимой В. так меня увлекла, что я не моя элегантная соседка. Напротив сели мама с девочкой — малышка крепко сжимала в руках плюшевого единорога покрашены красным лаком, наполовину облупленным. Это выглядело отталкивающе. Мама девочки молчала — и я по но не слышу, — а вот А. и В., сидевших сзади, я слышал, но не видел. Когда-то давно у нас в городе был худож мастерской у него стояло два телевизора: в одном работало только изображение, в другом — звук.

Эта ассоциация может пригодиться — пусть пока и неясно для чего.

По вагону проехала тележка с напитками, А. у меня за спиной попросила черный чай без сахара. Монеты звя официанта. Я пожалел, что не заказал кофе.

Солнце осталось в городе Б., я мог немного почитать. И вдруг за спиной у меня раздались крики:

— Черт! Ну что ты будешь делать!

Ругаться она предпочитала на русском.

Я обернулся — как будто откликнулся на «черта», на законных основаниях. А. пролила чай на сиденье, причем умуд и свое, и то, что напротив. Зато на одежду не попало ни капельки.

Она улыбнулась мне и спросила по-немецки, можно ли ей пересест ко мне? Я кивнул, и А. снова начала стаскивать свою сумку.

Она села рядом со мной, и я жадно разглядывал ее, не брезгуя подробностями.

Я сильно промахнулся, придумывая ей внешность. Она не была хорошенькой — скучное лицо, а фигура такая широ можно, кажется, повесить на стену. Одета по-европейски сдержанно, но туфли выдают русскую кровь — алые, блестя которые моя жена называла «котурнами». А. вытащила из сумки телефон, набрала какой-то номер.

— Привет! — и снова русский. — Ты можешь мне перезвонить? Я сейчас пришлю тебе номер. Чтобы недорого. Спасибо!

Ей тут же перезвонили.

Спектакль, таким образом, продолжился.

Именно в это время поезд остановился в полях. Француженки спали, склонив друг к другу хорошенькие головы странная и совершенно бесполезная ассоциация — уставшие солдаты в окопе. Мимо просвистел встречный, а нам объяснили, что мы вынуждены сделать небольшую остановку по техническим причинам.

— Ты не представляешь, кого я сейчас встретила в поезде, — сказала А. в трубку. — Нет. Не угадала. И снова — не пожалуйста. Первые десять минут можешь думать бесплатно. И снова — нет. Подсказку? Ну ладно. Кого мы не вид выпускного вечера? Да, я про нее. В каком смысле ты видишь ее регулярно? И она живет в том же районе? Ты что-то Она мне тут такого нарасказывала... У нее пересаженный орган, и она скоро умрет. Как это — дети? Нет, я знаю, что 1 нет никаких детей. Пластические операции? Ну да, я обратила внимание, она очень хорошо выглядит. Лет на тридцат в Европу омолаживаться? Слушай, я ничего не понимаю. Но как она не боится про себя такое придумывать? Я в шоке. Я сказать. Вечером напишу. Пока-пока.

А. закрыла телефон и бросила его в сумку — как будто он в чем-то провинился.

— Нет, ну как она не боится? — прошептала она.

Молчаливая мама молчаливой девочки смотрела в окно. Девочка спала, положив голову на плюшевого единорога, как на подушку.

Поезд тронулся.

Мы прибыли в Л. с двадцатиминутным опозданием. Француженок встречали юноши, все, кроме одного, — красивые будто участвуют в конкурсе.

Мама с девочкой поехали дальше. А. попрощалась со мной на выходе из вагона. У нее был хорошо отработанный взгляд.

Я хотел сказать ей что-то на прощание, но не решился.

Гостиница моя была недалеко от вокзала. Я шел по мосту и думал: отпуск скоро закончится. Вернусь в свой город Начну считать часы до того дня, когда можно будет пойти на работу. Шеф скажет о новой рекламной кампании: «За д придумайте, чтобы так». Коллеги продолжат смеяться над тем, как я записываю свои ассоциации. Пиарщики всё т каждого, кто придет к ним «на мероприятие». Агенты — переписываться годами и не узнавать друг друга при встрече.

Комната в гостинице оказалась крошечной и душной, как парилка. Настольная лампа не работала.

Я сел за стол — записать то, что случилось сегодня. Хотя знал, что этот день и так останется в памяти.

Вспомнить было бы интересно, но сейчас не хочется. Имя В. останется в памяти.

в детстве у меня была любимая игрушка — обезьянка Чича. Всего лишь раз я взял ее с собой на улицу, и ко мне незнакомая девочка:

— Мальчик, а у меня такая же! Такая же!

После этих слов я решительно разлюбил Чичу. Это была единственная персона женского пола, которую я в своей жизни предал.

Возможно ли, что В. всего лишь не желала стать такой же, как все? Прожить понятную жизнь, которая закончится. Ведь горы чаще всего рожают мышей.

Сейчас я поставлю точку в этой истории, а потом сделаю то, чего не делал раньше никогда. Раньше я купил бы вина, выпил бы вдвоем с телевизором, а потом уснул, мечтая о бывшей и единственной моей жене. Я вспоминал бы о тесных маленьких джинсах и горячих ладонях, и удивлялся — как в ней могло поместиться столько ненависти ко мне?

Сейчас я сделаю иначе.

Я вернусь на вокзал и куплю билет до города Б.

Это не очень большой город, все приезжие там ходят по одной улице — от главной станции до набережной реки. Медведей огорожен целый берег.

Если В. будет идти впереди меня — я узнаю ее со спины. Я хорошо запомнил, как она выглядит.

А если В. окажется позади — я почувствую это и обернусь. Скажу:

— Здравствуйте, хотите яблоко? Вот только оно холодное.

Она ответит — и я снова услышу ее голос.

Девять девяностых

Смена сезонов, как в зеркале, отражалась на прилавках старух, что торгуют плодами земли — и своих последн кажется, царствовали редис и черемша, как вдруг их уже свергали с престола в пользу первых, неуверенных в се следовали клубника в бидонах и черника в газетных кульках, морковь и бледные дирижабли кабачков. Сего старушечьего рынка, Лина невольно заметила черную редьку — она была громадная, черная и страшная, как клизма. вверх волосатая антенна. В окружении рядовых свёкол редька выглядела, как ферзь среди пешек.

Редька — значит, осень. Ягоды и листья рябины почти равны цветом.

Лина не любила осень. Но она и зиму не любила, и весну, и даже лето.

С прошлого года она всё в своей жизни одинаково ненавидела. Даже не интересовалась тем, какой нынче сезон на дворе.

А вот старуха с редькой сохранила свежесть чувств и праздновала осень, как личный юбилей.

— Берем, девочки, редьку! — крикнула она Лине, хотя назвать ее девочкой можно было только сослепу. Да и никак рядом не было. Таким старухам множественное число отчего-то кажется более вежливой формой обращения. — И Редька для здоровья, астры — для хорошего настроения!

Лина мысленно заспорила: это от астр-то хорошее настроение? Да они, наверное, самые депрессивные цветы похоронные хризантемы. Школьникам астры напоминают о том, что опять началась вся эта свистопляска с учебой, вл хватает денег на розы. Лине — той, другой, из прошлого — когда-то нравились белые пионы. Но теперь это никого впрочем, и саму Лину. Дайте ей сейчас пионы — ничего не почувствует.

Прошла мимо разочарованной старухи, так и не соблазнившись страшенной клизменной редькой. А вот свёклу на можно было бы сделать винегрет и поужинать, как человеку. Лина опять перестала готовить — зачем, если для себ чего — запасов, как Муся, она сделать не успела.

Муся часто вела себя с Линой так, будто они не ровесницы, а мудрая мать и бестолковая дочь.

— Мы бы обязательно сходили за дочкой, — клялась Муся, — но сейчас рожать, это ж врагу не пожелаешь! И вооб мальчики. Врачиха говорит — генетический сбой!

Лина молчала, поражаясь внутри себя Мусиной бестактности. Ужас, сколько всего она могла делать внутри себ спорить, и протестовать, и плакать... Главное, чтобы наружу не просочилось.

Она-то согласилась бы на любое время — ну да, дикie годы, и что? Мама Лины — та вообще родилась в блокад многие бросали младенчиков, а бабушка маму выходила. Они обе — блокадницы, и в Лилиной школе их даже при беседу. В пятом классе.

Сколько раз мама предлагала: возвращайся домой, Альвина, начнешь всё с начала. Здесь твой город, твой дом. Ко так и не решилась ее разорить. И вообще, как можно жить где-то, кроме Ленинграда?

Раньше Лина думала: может, правда вернуться? Но потом поняла: некуда. Из ленинградской жизни она вырос одежды, а самое счастливое время было здесь, в Свердловске. И начинать всё с начала она уже не хочет — ведь эт прошлого не было.

Но ведь оно совершенно точно — было.

Летом, уже не школьница, но еще не студентка, Лина уехала в Москву — как все тогда ездили, «к родственн московскую Лина не любила. Та давала на завтрак манную кашу в хрустальных розетках и свято верила в то, что нельзя показывать черноглазым людям. У Лины глаза были именно что черные, поэтому от нее в первый же день спря убрали от греха подальше рамки с портретами детей, посланных на лето в Крым. Лина пыталась не сердиться на порцией манной каши не насытился бы даже воробей, зато в соседнем доме работала чудесная булочная. Тетка достаточно взрослая для того, чтобы развлекаться в Москве самостоятельно — вот она и развлекалась. Вступительн позади, сразу после Москвы, августа и колхоза Лина готовилась, как выражался папа, «брать языка». Английский у не приличный, а вот с немецким предстоит настоящая борьба. Может, даже битва.

Лина с удовольствием познакомилась бы с кем-то в Москве, но подойти первой не решалась, даже если ей нравил всё же Москва — это была плохая идея. Лучше бы она поехала с подружками в Одессу, тоже, кстати, «к родственни чужим.

В Москве — бродила по улицам, уставала, маялась. Мама строго наказала: ходи, Альвина, в музеи, театры. Как будто нет. Но мама как чувствовала: именно у входа в театр, Вахтанговский, Лина столкнулась с Сашей. Столкнулась в са прямом смысле слова — прямее был разве что Сашин нос, от удара, к счастью, не пострадавший. Лина, зазевавши плечо — как будто собиралась зарыдать. И, хотя было стыдно, всё же успела почувствовать, как от него пахнет — в т Родной аромат кожи, папирос, еще чего-то знакомого, ленинградского. Лина так обрадовалась этому запаху, что ст рот, и смотрела на Сашу, еще не зная, конечно, что это Саша. И он — тоже смотрел на нее.

У него были светло-карие глаза, такие светлые, что могли бы считаться желтыми — это оказалось неожиданно к ямочки на щеках — похожие на скобки, в которые он пытался прятать улыбку.

— Ты так меня напугала! Выпрыгнула откуда-то и сразу — обняла, — вспоминал он потом, в другой жизни. А тем в они пошли в театр и, единственные во всем зале, смотрели не на сцену — друг на друга. И уже в сентябре Лина выш Свердловском вокзале — самом, наверное, угрюмом из всех вокзалов мира. Саша стоял на перроне — она увидела еи еще не выйдя из вагона, что всё сделала правильно.

«Брать языка» можно было и в Свердловске. Лину охотно перевели в местный педагогический — «иностранцев» только там. У Саши была однокомнатная квартира на улице Малышева — наследство деда.

В Питере, конечно, устроили целую историю, если не вообще траур.

— Я всё понимаю, — плакала мама. — Я любовь понимаю, и страсть — понимаю... Я, Альвина, не понимаю одного — будучи в своем уме, уехать из Ленинграда? Как вообще можно жить в другом городе, да еще в таком, как этот ужасный Свердловск?

Мама однажды была на Урале в командировке, и ей там очень не понравилось. Грязно, холодно. Еще и царя убили.

— Альвина, подумай хорошо, — подключался папа. — Пусть твой Саша лучше к нам придет. А что? Проживем!

— Саша не может переехать, — объясняла Лина. — У него аспирантура и секретное предприятие.

Когда Сашу начинали расспрашивать, что там такое секретное производят, он всегда отвечал одинаково: «Плас нужд».

Гостей на свадьбе было пятеро. Родители невесты, мать жениха и два его друга, один из которых, как призн человека, убившего царя.

— Главное, маме не говори! — переполнилась Лина

— Главное, маме не говорить, — перешлошлась Лина.
— Не скажу. Пусть это будет наша первая тайна!
— ...Он тебя, конечно, очень любит, — признала мама, когда Альвина провожала их на вокзале, уже не таком угрюм раз.

— И я его люблю!
— И ты... — протянула мама с сомнением, что очень обидело Лину.
Саша звал ее «Львина». Говорил, это львица-королева. А иногда — что Мальвина с львиной гривой.
Лина учила английский, успешно сражалась с немецким. В институте она ни с кем особенно не дружила — Саша подруга, всё разом.

А вот в соседях приятельница нашлась сама собой.
Лина и сейчас помнит, как впервые увидела Мусю. Даже не увидела, а почувствовала на себе взгляд — такой тяжёлый взял и бросил тебе на плечо мокрое полотенце. Лина обернулась — и даже не поверила сначала, что полотенце, то и принадлежит такой славной девушке. Взгляды у нее, по всей видимости, легко менялись — сейчас она смотрела приветливо.

— Недавно переехала? — спросила девушка. — И зовут тебя как-то странно, да?
— Странно — это еще мягко сказано, — засмеялась Лина. — Родители называли Альвиной в честь какой-то тетки, к жизни не видела. Но тетка, говорят, была хорошая.

Девушка нетерпеливо кивнула. Ей хотелось рассказать про себя.
— А меня мама назвала Марией — потому что к ней во сне пришла Богоматерь.
— Вы верующие? — шепотом спросила Лина. Тогда не принято было так запросто обсуждать сомнительные вещи.
— Как бы да, — согласилась девушка. — Я вечером к тебе зайду, можно?

Действительно, зашла. Лина не сразу заметила, что эта Мария, сразу же, впрочем, велевшая звать ее по-кошачьи М. А сейчас, вечером, разглядела. Животик уже был виден, и ела с аппетитом. Лина даже начала переживать, что Саша поужинать, — но в какой-то момент Муся, к счастью, остановилась. Говорить с ней было особенно не о чем.

Работала Муся кастеляншей в детском саду, а ее муж Валерий был ни много ни мало депутатом горсовета. Са рассказала, изумилась: какой мезальянс!

Валерий бывал дома редко, и беременная Муся, уже разменявшая к той поре декретный отпуск, отчаянно скучала. Караулить Лину на скамейке у подъезда. Щелкала семечки, умело сплевывая шелуху в кулачок. Или же курила, спр стеной подъезда. А потом вместе с Линой шла к ним домой — мешала готовить, заниматься, читать... Но у нее был Лина терпела и молчала.

— Ты не курила бы, — сказала однажды Лина.
— А мне врач сказал, на таком сроке бросать нельзя! Это для ребенка — стресс.
Муся много и подробно рассказывала о себе — в деталях описывала свое самочувствие, и Лине порой казалось, что врачом.

Валерий хотел сына, Мусе было всё равно.
— А вы чего не идете за ребенком? — спросила как-то Муся, и Лина растерялась. Они с Сашей еще не говорили об : прожили вместе уже целый год.

— Думаешь, у нас будут когда-нибудь дети? — спросила она тем же вечером, уткнувшись мужу в плечо. Как будто с а не у Саши.

— Львина, конечно будут! — засмеялся Саша. — Мы еще даже, можно сказать, и не начинали этот процесс.
Лина успокоилась. В самом деле, куда торопиться? Ей надо диплом получить, Саше — защититься.

В августе Муся родила сына.
«На три пятисот вытянул!», — крикнула из окна роддома.
Как про колбасу, поежилась Лина. Валерий приехал забирать жену и сына из роддома на красивой бежевой «волг удивило, какой они были странной парой. Миленькая, но ~~просто дырято~~ выражению свекрови, Муся и ладный-скла, Валерий. Пиджак сидел на нем, как на манекене из магазина «Синтетика».

Мальчика называли по моде тех лет — Иваном.
Теперь они приходили к Лине вдвоем. Муся, не стесняясь, вынимала грудь из рубашки — так достают кошелёк заграничном фильме. Малыш хватал губами оранжевый сосок, кормление шло громко и долго, с гулкими звуками. Ли глаза, а Муся над головкой малыша всё так же щелкала свои семечки.

Через полгода после рождения Ванечки она опять забеременела.
— Вот, Линка, скажут тебе, что, пока кормишь, не залетишь, — не верь! Вранье! Надо было предохраняться.
Муся была разгневана тем, как ее обманули организм и народные приметы. Она совсем не собиралась рожать вт первого.

— Моя мать из двойни. Говорит, что хуже близнецов — только погодки, — жаловалась Муся.
— Так у тебя и близнецы могут быть? — спросила Лина. — Это же передается по наследству?
— По мужской линии, — важно сказала Муся.

Действительно, в положенный срок Муся показала в окне роддома с единственным свертком. И лицо у нее было расстроенное.
— Опять пацан. Валерий еще и какое-то имя дурацкое придумал — Лука.

Лина тут же вспомнила цитату, застрявшую в памяти со школьных времен: «Лука — апостол утешающих иллюзи правды свободного человека».

Вернувшись из роддома, Муся объявила, что будет звать младшего Лукасом. Пока ее не было, домом заправляла суровая дама в седых кудряшках, до смешного походившая на композитора Баха с известного портрета — точно та подозрительный взгляд. С Ванечкой бабушка справлялась отлично.

У стен, как известно, есть уши — но в том доме, где жили Лина и Муся, стен вообще как будто не было — соседи м друга, точно радиоспектакль. Ванечка часто плакал, иногда Лина слышала, как ворчит Муся, а потом покрикива раздавались глухие шлепки и удары — как будто кто-то не слишком большой и тяжелый падал на пол.

А вот бабушка-Бах пусть и выглядела строго, но так щебетала за стеной, что Лина невольно улыбалась, слушая — невольно.

Она не сомневалась, что Муся вскоре начнет приходить к ней, как прежде, — теперь уже с Ваней у ноги и Лукасом неожиданно собрались и переехали. В считанные дни — Лина даже не успела толком попрощаться. Муся не остав телефона, квартиру сдали молчаливому бирюку, который жил один в трех комнатах, но не издавал, если верить ст никаких звуков.

Лина чувствовала обиду, но в большей степени — облегчение. Никто теперь не мешал ей учиться, никто не напо планное предизначенное женой — это материнство

главное предназначение женщины — это материнство.

Она получила диплом в тот год, когда умерла их страна. Та, новая, что пыталась занять ее место, была слаба — и сама в себя не верила. Как некоторые больные не верят в то, что поправятся, — и отдают концы.

Однкурсницы Лины торговали в «комках», сама она безуспешно пыталась найти работу по специальности, но в кс возить по домам дешевые польские костюмы. Костюмы были синтетические, от них летели искры, как от трамвай Лина, предлагая товар, мучительно краснела от стыда за него. Так краснеют за детей, когда они хватают с общего блюда лучший кусок.

Но детей — не было. Была жгучая нежность к несуществующему младенцу, была уверенность в том, что уж она-то растить и воспитывать. Были мечты, имена для мальчика и для девочки, были сладкие сны, в которых она — мама бесплодных, страшных года.

Бог с ними, дурными деваностями, однажды они закончатся.

Плевать на искрящие костюмы — не станет же Лина торговать ими всю жизнь.

Не страшно, что диплом преподавателя английского и немецкого языков, скорее всего, засохнет на корню, как позабытый цветок.

Страшно — без детей.

Теперь они с Сашей говорили об этом открыто.

Саша сумел сохранить работу, но за нее, к сожалению, перестали платить. А он всё равно не бросал ее, потому что людей, которые не могут бросить то, что по-настоящему любят.

Жили так бедно, что Лина научилась покупать семечки и неумело щелкала их, приглушая голод. Сашина мама выра картошку — перебивалась дарами трудов и огородов. Она была хорошей женщиной, Лина свекровь, — сильной и с видела таких только на Урале — чтобы и носки вязать, и бревна катать, и стихи по памяти читать. Стихи она любила о природе.

Она была хорошей, но прямолинейной, как проспект.

— Где моя внучка? — наседала свекровь, как будто Лина спрятала куда-то живую маленькую девочку и не по вредности.

Свекровь хотела внуку, и Лина тоже всегда представляла себе, что у них родится девочка.

Хотя можно и мальчика.

Всё равно кого.

Только бы родился, пожалуйста!

Они прошли все обследования. Съездили к бабке, которая снимала порчу и брала плату продуктами. Молились у ч Саша бросил курить. Лина по совету врачей высчитывала дни для зачатия. Узнала, что такое «овуляция» и «цервикальная слизь».

И — ничего.

Точнее, никого.

На очередном приеме у гинеколога Лина услышала бесстрастные слова врачихи: «Живот мягкий, безболезненный».

А ей показалось — «бесполезный».

— Десять процентов всех случаев бесплодия необъяснимы, — сказала ей однажды врачиха, крутившая кольцо яростью, как будто вентиль завинчивала. — Никто не знает, почему у вас не получается. Раньше я посоветовала бы ва детдома — почему-то после этого у людей начинают рождаться свои детки, хотя это тоже необъяснимо. Но не в нац своих бы поднять...

И врачиха глянула на фото в рамке — оно стояло у нее на столе, и там была прелестная черноглазая малышка с беззубой улыбкой.

В тот вечер Лина так рыдала, что бирюк-сосед даже позволил себе возмущенный стук в стену — но Саша тут же с силой, что это походило на драку. Стенка на стенку. Наверное, над этим можно было бы посмеяться, если бы у них Саша в конце концов ушел, и Лина испугалась — вдруг не вернется?

Но он вернулся и держал на руках старое одеяло, внутри которого дрожал от радости и ужаса лохматый щенок. Саша назвал его — Лев.

Так у них появился ребенок.

Щенком Лев был похож на овчарку — как овчарку его, собственно, и продавали на том углу, рядом с гастр разглядывала сегодня ту жуткую редьку. Толстолапый, с медвежьим (а не львиным) черным носом — фотографии печатать в календарях. Но по мере роста в нем просыпалась дремлющая до поры дворовая кровь — крепкая и липк Круп у Льва-подростка выглядел коротким, а лапы, наоборот, казались излишне длинными. И хвост как закрутился так и не думал принимать благородную форму. Лев смешно бегал, визгливо лаял, в общем, овчаркой он был приме львом.

Но разве мы любим детей за то, что у них правильные лапы и хвосты?

Лев был отличным сторожем и верным охранником — здесь командовала овчаркина кровь. Лина часто с благодар о том, что он рядом — Саша задерживался на своей бесплатной работе допоздна, а подъезд, ценный отсутствие облюбовала местная шпана. Бывало, даже ломились в квартиры — просили то рубль, то стакан, то позвонить. Лев рычал и лаял, поэтому к ним стучали реже, чем к соседям. Но вообще в те годы сложно было чувствовать себя защищенным даже рядом с дурные деваностые! Люди с трудом выплывали из-под этих тяжелых лет — как во сне, когда давит на грудь и нечем дышать.

Постепенно распогодилось. Лина начала давать уроки английского. Саша наконец расстался со своим секретн сумел устроиться в только что народившийся банк программистом. Когда одна из учениц Лины начала соблаз коммерческой школе, где готовили секретарей-референтов, Саша сказал:

— Соглашайся! Тебе нужны люди, а не только мы со Львом.

Лев в подтверждение радостно дышал, длинный язык свисал, как галстук. Пес не возражал, чтобы его считали человеком.

В коммерческой школе Лине понравилось. Пахнет кофе, новой мебелью, и никому не интересно, куда она дела м Здесь часто бывали иностранцы, читали лекции, проводили семинары, — возможно, впервые по Свердловску запрости бельгийцы, шведы. В подарок местным жительницам первопроходцы привозили конфеты и колготки — Лине было эти подношения, но она всё равно принимала. Колготки — валюта перестройки.

Потом Лину впервые отправили в командировку — на Север. Уезжать от Саши и Льва она не любила. В чужих горс родном Ленинграде, где приходилось бывать каждый год, — Лина чувствовала себя в сто раз несчастнее, чем дома казалось хуже, чем вблизи от Саши и милого преданного Льва. А может, это было предчувствие — как будто бы Лина ей привыкать к этим поездкам. Точнее, не надо уезжать!

Накануне она почему-то вспоминала Сашиного деда. Он был известный ученый — и притом страшно суеверны спрашивала: когда ты вернешься из Москвы, а он ~~должен~~ вернуться послезавтра. Вот это «должен» — был реверанс мужа перед судьбой, способной на всяческие подлости. Сашин прадед умер в путешествии — поэтому его сын го вернуть», а вернется ли на самом деле — как знать? Рассказывая историю, Саша посмеивался над дедом, но и сам «должен», а не «вернуть».

Наутро Лина впервые не смогла дозвониться домой. И всю дорогу, пока тряслись в автобусе от Тюмени до Екатери

сеоя, как реоненка: ничего страшного, наверное, просто телефон отключили за неуплату. или труока лежит неправильно.

Свекровь она тревожить побоялась — и так потом ругала себя за это! Свекровь подняла бы панику, можно было спасти...

У подъезда Лина увидела милицейскую коробочку и стайку старух на скамейке. Старухи сидели ровным, как милиционером, сдвинувшим фуражку на затылок, беседовал тот самый сосед-бирюк — Лина подумала, что впервые потом увидела Сашу и Льва. То, чем они теперь стали.

История была для девчонки обычной, в криминальных новостях о таком рассказывали часто. Саша пошел выг вечером и в темноте не заметил обводненную траншею. Они упали туда оба, Саша сломал ногу и позвоночник. Их н нашли — но, когда попытались вытащить Сашу, Лев стал рычать. Он не подпускал никого к хозяину, думал, что ег убить. Овчарка победила дворнягу. Саша был без сознания, кто-то предложил пристрелить Льва, но, пока разбиралис сделать, — они уже умерли. И муж Лины, и ее ребенок.

Всё, что было потом, она уже не помнила — только этот, самый первый момент. Грязные, мокрые, мертвые, лк единственные. И после этого — как можно было говорить ей, что нужно жить дальше? Ради чего?

— Ради нас с папой, — плакала по телефону мама.

Коллега из коммерческой школы принесла Лине какие-то таблетки, и со временем она впала в состояние тупого Эта искусственная, химическая радость так напугала Лину, что она бросила лечение — и продолжала жить всё в т решившись выбросить мягкую подстилку Льва, не убрав из прихожей Сашин портфель, мерно обраставший пылью.

— Вещи нужно раздавать сразу после похорон, — сказала ей одна из старух, что сидели тогда у подъезда. Наверн на Сашину одежду, но Лина не нашлась что ответить. — Вон хотя бы соседке отдай! Вернулись ведь Муся-то с семьей.

И правда, вечером за всеслышащей стеной кто-то визжал и падал, басыл и покрикивал.

А на другой день в дверь постучали — и словно не было этих лет, тяжелых, словно горы, которые никак не хотят — с прежним своим миленьким личиком, самую чуточку потолстевшая — стояла на пороге и смотрела на Лину зн. Кажется, что в глаза, но на самом деле — за спину. Будто бы она искала что-то припрятанное, как бедная Сашина ма внучку.

— Я только садом спасаюсь, — сказала однажды свекровь. Пальцы ее были темные, в трещинах, как будто она цел свёклу — или накалывала вишни на варенье. — В саду всё живое, помрет без меня. Вот я и спасаюсь. Зимой что делать — не знаю.

Свекровь в первое время приходила к Лине почти каждый день. Они молчали или плакали. Говорить было не о чем и незачем.

А вот у Муси накопилось новостей.

— Мы же в Москве всё это время жили, — рассказывала она. — Валерий раскручивал бизнес.

— Раскрутил? — спросила Лина.

— А то! Будет здесь теперь филиал открывать. Как раз к началу года всё сделает — и обратно. Я бы ни за что не п детьми — у нас в Москве условия гораздо лучше. И няня, и бассейн. Но ты же знаешь, Линка, мужика без присмотра не оставляют.

— Да, я знаю, — Лина сама удивилась тому, как спокойно прозвучали эти слова.

— Так я не про то! — почему-то разозлилась Муся. — Я к тому, что уведут. Сейчас это знаешь как просто!

Вскоре выяснилось, что на Сашины вещи у Муси никто не польстится — и муж, и мальчики одеты, как в каталог Валерию возраст был к лицу, как многим красивым мужчинам. Младший сын, Лукас, оказался прехорошеньким п сожалеению, астматиком. Старший, Иван, носил длинные, до плеч, волосы. Возможно, в Москве была такая мода, и с докатилась до Екатеринбурга. Прическа эта мальчику не шла, а больше сказать про Ивана было нечего.

Муся приходила к Лине одна, без детей, — и не так часто, как раньше. Вместо семечек она приносила с собой жаловалась, что у нее от шоколада — прыщики, но она всё равно не может от него отказаться. И курила на кухне, зап пахло, как на вокзале, но Лине было всё равно. Она и сама порой вытягивала из пачки сигарету, и Муся ее поощрял: радовалась, что правильная Линка теперь тоже курит.

По вечерам Лина слышала из-за стены, как родители учат с Иваном уроки.

— Ты тупой совсем, что ли? — кричал Валерий. Не иначе с Валерием что-то произошло в Москве, или же, раскруч сорвал у себя внутри какой-то жизненно важный тормоз. Раньше Лина не помнила, чтобы он повышал на детей голос так иди в школу для умственно отсталых, понял, урод? Что здесь решать-то, задача для дебила!

Девятый вал и вой раненого зверя. Мальчик плакал, потом включалось — как музыка! — повизгивание Муси, гл много всего, что Лина предпочла бы не слышать. Однажды спросила:

— У Лукаса проблемы с учебой? Вы поэтому летом занимаетесь?

Муся призналась: проблемы не у Лукаса, а у Вани, причем серьезные. Шестой класс окончил на двойки, не спас репетиторы. Они еще и поэтому вернулись в Екатеринбург — найти ему хорошую школу, может, интернат...

— Он у нас не дебил, а индиго. Слыхала?

— Если хочешь, я с ним позанимаюсь.

Муся засмеялась, недожеванная конфета выпрыгнула изо рта, как лягушка. Долго кашляла, запивала чаем.

— Да хоть вообще заberi. Мы плакать не станем.

Тогда был август, самое начало. Бабки у гастронома торговали тепличными помидорами, чесноком и репой. ь появились ведра с мелкими яблоками — кривобокими, но душистыми, сладкими. «Чистый мед», клялись старухи, под яблоками поближе к Лине, чтобы она их лучше рассмотрела. Познакомилась, так сказать, прежде чем купить и съесть одной из своих прежних учениц — к ней вернулись все, кого она оставила, уйдя в коммерческую школу. С той школ навсегда.

— Ты пытаешься себя наказать, — часто говорила мама, и Лина соглашалась с ней, как соглашалась теперь с высыпала ведро яблок на пол, наслаждаясь их грохотом, ароматом и тем, как они раскатились красными мячиками застыли — каждое на своей орбите.

Потом пришла Муся, привела Лукаса — и у него открылся рот, как будто конверт расклеился.

— А зачем вам на полу яблоки?

— Не знаю, — сказала Лина.

И, кажется, в первый раз за весь год улыбнулась — такая у него была забавная, удивленная мордочка.

Через две недели случился дефолт.

Наверное, Лина была самым равнодушным к этому событию человеком — если не во всей стране, то уж точно в доме.

Для Мусиной семьи это была, как для всех нормальных людей, катастрофа.

Валерий потерял бизнес, который с таким трудом налаживал все эти годы. Пока доллар летел вверх, Муся металас выгодно истратить на глазах тающие деньги. Было, например, куплено три шубы, две — длиной в пол. Попутно с э гречку, варила компоты, мариновала огурцы — готовилась к войне. Такие, как Муся, — всегда готовы. На них держи

таких, как Лина, дохлых львицах.

Она ни о чем не позаботилась — вот и смотрит теперь бессмысленно на черную редьку.

О возвращении в Москву никто не заикался. Валерий целыми днями сидел дома, воспитывал сыновей. Судя по все бегала по знакомым, будто бы искала работу. Пыталась перепродать шубы. Про интернат для Ивана речи уже не было мальчики вышли из квартиры с букетами, направляясь, надо полагать, в обычную школу. И у старшего, и у младшего Отец спускался по лестнице следом, глядел в затылки детям, как надсмотрщик.

Уроки они теперь учили, начиная с двух часов, как только Иван возвращался из школы.

— Болван! — кричал Валерий за стенкой. — Тупица! Тварь!

Вполне возможно, имел в виду и себя.

Однажды, в какой-то особенно громкий день, Лина не выдержала. Вышла на площадку, позвонила в дверь.

Открыл разъяренный Валерий. Где-то глубоко в квартире всхлипывал мальчик.

— А Лукас у вас на продленке? — зачем-то спросила Лина.

Валерий, ни слова не сказав, ушел в кухню, долго чиркал там спичками — от злости не мог прикурить. Лина пошла с заставлена банками с соленьями, вареньями, овощной икрой, компотами. Над форточкой висели длинные нити сушеных на какие-то страшные бусы.

— Зачем вы с ним так?

— Что? — не понял Валерий. — А, вы заступаться пришли?

— Я каждый день слушаю, как он плачет.

— Ясно, — кивнул Валерий. — Жалко стало, да?

— С Лукасом вы по-другому общаетесь. Вы его любите. Но Ваня ведь тоже ваш сын.

— А вам не приходило в голову, — взревел Валерий, — что у каждого ребенка своя кредитная история? Это дерьмо отравило! Гнилой насквозь.

Валерий выругался сквозь зубы, полусшепотом — так обычно делают женщины.

— Ребенок не может быть гнилым, — сказала Лина.

Валерий так вдавил окуроч в блюдце, будто это был виновник дефолта и его личный враг. Потом выбежал с кухни всей квартире, собирая в большой пластиковый пакет какие-то вещи. Лина заметила ботинок, книгу, спортивные штаны...

— Папочка, не надо! — вопил Ваня, пытаясь остановить отца, но тот легко стряхнул его с руки, как сухой листик знала, что делать — зачем она во всё это ввязалась? Зачем ей чужие беды, если она и свою-то пережить не может?

Валерий набил наконец пакет доверху, открыл дверь и с удовольствием вытолкнул из квартиры сначала Ваню, а потом Лину.

— Попробуйте сами! — торжествующе сказал он.

Лина попыталась обнять мальчика, но он отшатнулся, как чужой пес. Сел на пол в коридоре.

— Тебе тринадцать, да? — спросила она просто для того, чтобы хоть что-нибудь спросить.

Ваня просидел на полу почти целый час, потом всё же согласился умыться и зайти в комнату.

Лина не сомневалась — сейчас придет Муся и заберет сына, но за стеной было тихо, как при соседе-бирюке.

— Ваня, — позвала с кухни. — Ты картошку вареную любишь? Или жареную?

Они поели вдвоем, это было приятно. Ваня сидел рядом, и от него пахло знакомым, почему-то ленинградским запахом слез.

— Телевизор включить? Или сразу ляжешь?

Когда мальчик уснул, Лина разобрала пакет с его вещами. Повесила школьный жилет на плечики, рядом с Сашины нужно было погладить — и это тоже оказалось приятно. В левом кармане — дырка, Лина зашила ее, смакуя каждую секунду.

В тот вечер она засыпала, думая: сегодня у меня есть ребенок.

Наутро за Ваней тоже никто не пришел. И сами не открывали — Лина, хоть и боялась Валерия, но всё же с утра кнопку звонка. Безуспешно.

Ваня спал, а ведь ему нужно в школу! Лина не знала, как разбудить его, чтобы не напугать. В конце концов просто мальчишка пробудил яркий свет из окна.

— Будешь завтракать?

Ваня сказал, что будет.

— Мне куда сегодня приходиться? — спросил он.

— Ко мне. Я буду ждать.

Муся она встретила только к вечеру — та выносила из квартиры раскормленный чемодан. Увидела Лину и жарко вспыхнула:

— Линка! Я сама в шоке! Но Валерий уперся: пускай, говорит, она попробует, прежде чем нас осуждать. Мы едем в Лукас у бабки. А Ваня — пусть он правда у тебя поживет, ты не против? Бабка с ним тоже не справляется.

Лина вспомнила бабушку-Баха, ее суровое, непрощающее лицо. И как сладко она щебетала за стеной с крошечным Ваней.

— Пусть поживет, конечно. Но всё это неправильно.

Муся махнула рукой:

— Скоро сама поймешь. Не поддержишь дверь? Чемодан, зараза, не проходит.

Лина гадала: что же такое она должна понять? Ваня вел себя тихо, как рыбка: из школы приходил вовремя, ел, Говорить с ним было мучительно — он отвечал так скупое, как будто тратил с каждым словом не слова, но деньги.

Кстати, о деньгах. Муся даже в голову не пришла оставить сыну хоть сколько-то — скорее всего, она об этом просить может, Лина казалась ей обеспеченной — кто знает? Но сбережений у Лины не было — то, что платили за уроки, она Ваню нужно было кормить мясом, он рос — и ел с такой неряшливой жадностью, что Лина выходила из кухни, лишь бы этого не видеть.

В ее кошельке всегда лежала неприкосновенная купюра — на черный день. Для Лины — вполне крупная. Однажды был в школе, а Лина ехала от ученика, ее как будто дернул кто-то изнутри — проверить кошелек.

Купюры не было.

Лина решила, что сама где-то обронила. Или в магазине вытащили. Расстроилась, конечно, и, чтобы прикрыть свои безопасности, тем же вечером положила в кошелек другую купюру. Номиналом пониже.

Через день исчезла и она.

— Ваня, ты случайно не брал у меня деньги? — спросила за ужином Лина.

Мальчик выронил вилку.

— Нет, не брал, — почему-то басом сказал он. — А много пропало?

Лина промолчала. И не придумала ничего лучше, как спрятать кошелек. Теперь он постоянно лежал в секрете, часто забывала достать его перед тем, как выйти из дома, — всё это было очень неудобно.

— Вас в школу вызывают, — сказала ей Ваня спустя неделю после этой истории.

— Математичка. Бесит вообще. Только ко мне придирается, орет.

— Не знаю, что делать с вашим Иваном, — развела руками учительница. — У него сплошные двойки! На контрольную свою фамилию на листе, и ту — с ошибкой. Но ведь он не умственно отсталый. Нужно сидеть с ним дома — и упрямо ругать за другой!

— Читай условия, — велела Лина.

„Вот тебе карта. На ней всё мое государство, как на ладони. Я на старости лет хочу пожить с Царь-девицей с оставляю себе только 54/90 от своего государства. А остальную часть надо разделить между моими четырьмя сыновьями. Осталась одинаковая по размеру часть. Ты уж их не обижай, Ванюша!“

Что же посоветовал ему Конек?».

— Видишь, — решила подбодрить, — задачка про тебя. Про Ивана...

— ...дурака, — уточнил мальчик.

Лина смутилась.

— Что мы с тобой примем за единицу?

— Не знаю.

— А ты подумай.

— Не хочу.

— Хорошо, я подскажу. За единицу мы примем всё государство.

Она объясняла решение, думая, что на самом деле, скорее, государство принимает свой народ за единицу. Точнее, за ноль.

Но вслух спросила:

— Ты понял? Сколько осталось всем детям?

— Тридцать шесть девяностых.

— И как узнать, сколько достанется каждому?

Ваня молчал. Глаза у него были не голубые, как у Валерия, а ярко-синие.

— На что нужно разделить тридцать шесть девяностых?

— Не знаю.

— Сколько сыновей у отца?

— Да не помню я, сколько сыновей у этого отца! Мне... на этого отца, и на его сыновей, и на коня этого горбатого видал, в белых тапках!

Лина заплакала. Занятие окончилось.

А утром, за завтраком, Ваня сказал вполголоса:

— Девять девяностых.

Лина не сразу поняла, о чем он. Но потом просияла — правильно!

— Только надо еще дробь сократить, чтобы ответ был точным. Девять девяностых — это у нас сколько?

— Не знаю, — сказал Ваня. — Одна десятая?

Они занимались теперь каждый вечер, по крошечке отгрызая от каждой из наук. С другими предметами у Ва английский просто отсутствовал — мальчик даже алфавита не знал. Зато он начал разговаривать с Линой — рассказывал мумию в Мавзолее, пока отец не обозвал его идиотом и не объяснил, что эта мумия не имеет никакого отношения к Египту. Умеет ловить мух на лету, — ему нравится, как мухи щекочут лапками ладонь. Рассказал, что деньги он воровал у Лины, чтобы отдать долг отцу — Валерий обещал вычестить из него всё потраченное в Москве на репетиторов. Что маму он любит, а желает ему смерти, и представляет эту смерть в подробностях. Что младший брат очень болен, и поэтому родителям обоих своих детей. Что бабушка раньше любила его, а теперь не хочет даже видеть — ведь он плохо учится и др. никогда, за всю его длинную жизнь, не было.

А Лина рассказывала ему, что она очень скучает по своему любимому мужу, который погиб так нелепо и глупо. Что с нею умильную морду Льва — он так ловко выпрашивал куски за ужином! Что у нее никогда не будет детей, хотя она ей сказала, что не хочет. Что некоторые вещи нельзя ни отпустить, ни пережить — и время лишь добавляет боли, ведь ты начинаешь забывать больше всех на свете. Что она потеряла не только одну семью, но и другую, и не может вернуться в город, где живут ее родители, чтобы научиться решать задачи с дробями — это очень-очень важно, пусть Ваня этого пока и не понимает.

В октябре вернулись из Москвы его родители — Валерий пришел с коробкой конфет и медленно опустил ее на стол.

— Это то немногое, что я могу для вас сделать, — сказал он с ненавистью. — Я вам благодарен.

Конфеты были самые нелюбимые — «Грильяж». В детстве Лина думала, что их делают из гвоздей.

Ваня собрался вмиг и ушел, не взглянув на Лину, — возможно, боялся увидеть, как она плачет. Или же он просто то-
домой, к родным людям и стенам.

Вечером Лина слышала из-за стены, как орет на сына соскучившийся отец:

— Расслабился, да?

Муся привычно подвизгивала, и снова что-то падало с грохотом.

Дни теперь тянулись медленно — были одинаковые и ровные, как вставные зубы.

Лина прошла мимо старух, сидевших на пустых ящиках. Сегодня здесь — редька и свекла, потом придет время и будут продавать до самых холодов, после чего старухи скроются из виду до самой весны. Некоторые из них, вполне большинство счастливо переживет морозы, посадит огород и гордо выйдет на угол у гастронома с первым пучком репего втридорога.

И Лина не станет их осуждать... Вырастить что-то живое — пусть даже пучочек редиса! — стоит большого, очень большого труда.

Безумный Макс

Было начало девяностых, город только-только переименовали из Свердловска в Екатеринбург.

Максим Перов ехал в автобусе на Агафуровские дачи и думал о том, что старик-сосед, с которым они дружат с детства, скажет слово «Свердловск». Буква «д» проваливается, ударение съезжает, как с носа очки, — и получается город фрезеровщиков: «Сверловск». «Потому что у нас царя свергли», — утверждал сосед. Неизвестно еще, как он справится — тоже не из легких. Пока выговоришь, полдня пройдет.

«Ека-тере, ека-тере», — тихо бубнил Перов. Он еще год назад мечтал стать артистом, учил скороговорки. Самая сложная: «Кипу кип, кину пик», — бормотал Максим. Кипа кип воображалась легче, нежели кипа пик.

За окнами темнел нечесаный уральский лес. На Агафуровские Перов ехал, к счастью для себя, по делу. Нынче здесь каким изыщством позировала фотографу красивая купчиха Асма Агафурова — в гамаке между сосен. Дачи здесь приютили областную психбольницу.

— Первый километр, — водитель-татарин объявлял остановки, словно бы иллюстрируя своим акцентом историю Перова. — Третий километр.

На восьмом «километре» вышли многие. Максим нарочно отстал от толпы, спрессованной в автобусе в единое нелепое пятно сахара в пакете. В кармане курточки (а в Свердловске все куртки — вне зависимости от размера и фасона — назывались «курточками») лежал оторванный угол газеты «На смену!», где мама записала имя-отчество психиатра.

Максим глянул на часы, и ему стало остро жаль потерянного дня. Он словно бы увидел, как этот день пронесется интересней из всех, возможно, лучший в жизни! А он, спасибо маме, проведет его с психиатром.

Кто-то хихикнул — звонко и кратко, будто подал сигнал. Макс остановился, повернул голову. С ветки решительно поднялась сорока. На тропинке лежала разорванная обертка от бисквитного рулета, вокруг суетились воробьи.

На таких вот бисквитных рулетах с пропиткой разбогател товарищ Максима, Игорь Кравцев. Деньги к нему приносили в спортивных сумках — Макс несколько раз присутствовал при этом таинстве. Когда в дом вносили сумки, все тут же принималось считать деньги. Купюры мельче пятидесяти рублей Кравцев приказывал откидывать в сторону, их прятали дети и бабушка. Как собачки в цирке! Бабушка делала вид, что целует смятые бумажки: «Муа, муа, муа!»

Кравцев с женой Маринкой ужинали только в «Зимнем саду». Заказывали котлеты по-киевски — обязательно держишься за папиюточку, кусаешь, и масляные брызги — широкой распальцовкой... Жульен грибной, солянка — плавают маслины. Максим однажды опозорился, спросил у официанта, почему виноград в супе — да еще кислый?

Нам, из будущего, известно, что Кравцев с женой так и проел впоследствии всё свое богатство, все эти деньги в сумку горько усмехается в кондитерских отделах, берет один пряник «березка» и триста граммов овсяного печенья — твердого человека в свои силы. Никто не помнит бисквитных рулетов с пропиткой, которыми питался в девяносто первом цельнозерно, как шуршит накрепко застрявшая в памяти бумажная папиюточка.

У входа в приемник Максим столкнулся с пожилой дамой — она несла букет осенних цветов, походивших на скрученную проволоку «егоза». «Егоза» напомнила Перову о неприятном, он ускорился и почти что влетел в кабинет.

Психиатра звали Олег Игоревич, был он гранитно-сед, а лицо имел молодое, разглаженное. И симпатичный полумесяц на левой щеке — словно глубокий след от стакана. На полках в кабинете — книги, все про половые извращения, и Лев Толстой. Олег Игоревич смотрел на Макса так, словно уже поставил ему диагноз, но еще не оформил его словесно.

— Смотрю, не нравятся тебе мои книги.

— Отчего же? — дерзко ответил Максим. — Выбор литературы — личное дело каждого.

— Расслабься, — махнул рукой психиатр. — Это материал к диссертации.

Он взял со стола желтый карандаш и начал жевать его с той стороны, где ластик.

— Люба сказала, ты работу ищешь.

Макс кивнул. На самом деле работу ему искала мама. Если бы спросили самого Макса — он ответил бы, что не хочет совершать чудовищные ошибки, о которых будет жалеть потом всю свою жизнь до глубочайшей пенсии. Но условие: она отмажет его от армии только в том случае, если он бросит пинать балду и возьмется за ум. И то и другое он сделал одновременно. Об этом-то и напомнил пышный букет «егозы».

— У меня есть деньги, — сказал Олег Игоревич без особой гордости, но и без стыда. — И я хочу начать какой-нибудь бизнес. Например, туристический.

Максим вернул на место справочник по половой психопатии. На тот момент лично он не посетил еще ни одного государства, а вот Кравцев, благодаря своим рулетам, успел побывать в Арабских Эмиратах.

— Ты не думай, что будешь по заграницам рассекать, — Олег Игоревич читал лицо Макса, как букварь. — Для этого есть секретарь у меня есть, Ольга. Печатает десятью пальцами. У меня даже директор фирмы есть и водитель с личным конем, — про коня Олег Игоревич сказал с таким мечтательным выражением на лице, словно это проскакал мимо, и грива его красиво развевалась на ветру.

Олег Игоревич не хотел бросать психиатрию. Бизнес должен был стать его внебрачным ребенком, на которого, возлагая серьезные надежды.

Договорились, что конь выйдет на работу через три дня.

— Мне нравится твое простое среднерусское лицо, — сказал Олег Игоревич на прощание. — Привет маме!

За границу Макс Перов и вправду попал не скоро. И про коня психиатр не шутил — в этом Макс убедился сразу же, в службе.

Фирму называли, на взгляд Перова, странно — «Эркер». Расшифровку он узнал потом — а это была именно что «Рекердакова». Михаил Кердаков, он же Кердак и Мишган, — страшный человек родом то ли из Егоршино, то ли из Шали тэтэшкой и с чемоданчиком, полным денег. Называл этот чемоданчик ласково — «кошелек». Одна из любимых слов Перова звучала так: «На Урале три дыры — Шаля, Гари, Таборы». Но упаси Господь сказануть такое при Кердаке! Впору часто удостаивали высочайшими визитами. Мишгану было достаточно полного обслуживания, славы и, само собой, крышевание. В распоряжении «Эркера» имелись две комнаты с фанерными столами и бумажными, судя по слышимому, крыша у него была — на зависть всем!

Максим приходил в контору первым, поднимался по лестнице, глядя под ноги — белые мраморные осколки в жупане походили на кусочки жира в колбасе. В те годы он всегда хотел есть и бормотал, чтобы отвлечься от голодухи, бесконечно все они были теперь на одну тему:

— Цокнул сзади конь копытцем, под копытцем пыль клубится!

— Пошла с седлом, да без седла и узды, без подпруги и удили!

— Лошадь с седоком, да без седла и узды, без подпруги и удил.

Лифт не работал — и пока Макс добирался до девятого этажа, где свил гнездо «Эркер», он уже почти вслух кричал:

— Во поле-поле затопали кони, от топота копыт пыль по полю летит! Пыль по полю летит!

— Чего так разоряться? — удивлялась Наташа, секретарь из соседнего офиса, где торговали паленой водкой. Ната работала затемно. Через минуту после того, как конь заступал в борозду, она стучала в стенку — и Максим послушно ждал, где жарко пахло плойкой и дезодорантом «Юлия». Эта «Юлия» выпала однажды у бедной Наташки из сумки комнаты, полную народу — как граната в американском фильме.

Часам к десяти Максим возвращался к себе. Секретарь Ольга, которая умела печатать десятью пальцами, одиннадцати, а в два уже уходила «на обед», поэтому конь выполнял и ее обязанности тоже. Пусть и двумя пальцами. пара ленивых куриц клевала корм. Или еще была такая старинная русская игрушка — Мужик и Медведь.

Директор — родной дядя Олега Игоревича — в миру был ведущим закройщиком в ателье на Лунке и заглядыва. Ем. Ему было нестерпимо скучно выслушивать отчеты Макса, оживлялся он, лишь когда в конторе появлялась Ольга.

— Оленька, я бы пошил вам жакет, — мурявнал директор. — Секрет посадки дамского жакета — умение найти центры!

Ольга улыбалась так, будто сдвигала с места каменную глыбу, но закройщик этого не замечал. Он уже явно нашел груди, и плевать ему было, скольких людей успела отправить в Санкт-Петербург в этом месяце турфирма «Эркер».

Ну, а самым главным человеком в «Эркере», безусловно, был водитель Константин Петрович, брат тестя Олега Игоревича. Жизнь, до прихода дурных времен, Петрович возил генерала и научился у него тому, что мы в ближайшем будущем «самопрезентациями», «умением себя подать» и «мощной харизмой». Максима он откровенно презирал, как, собственно, человека, не заработавшего геморроя на шоферской службе. Хотя нет, Макса Петрович не любил как-то по-особенному. ездил по городу в троллейбусе.

Начиная бизнес, Олег Игоревич имел в виду заграничные путешествия — но, увы, потуги «Эркера» и других турфирм государственный закон об ограничении на покупку валюты. Двести долларов на человека в год, и ни центом больше. придумал работать с приезжими гостями — и начал возить поляков в Корею и корейцев в Польшу транзитом через Петербург. Организовывал путешествия рабочий конь Максим Перов. У него обнаружилась эйдетическая память, бл держал в голове расписания всех авиарейсов. А еще Макс умел заводить знакомства в железнодорожных кассах, о телефону и с первой попытки отправлял факсы.

Мама свое обещание выполнила — армия помячила, да и прошла стороной, как страшный сон. Приезжая на Игоревичу, Перов часто встречал здесь своих ровесников — они гуляли в вольерах за сеткой-рабицей, «косили» от а известный в нашем общем будущем артист Василий Ж., утверждал, что два месяца психушки уверенно засчитываются как два года армии.

— Как понять, сумасшедший человек или симулирует? — осмелев, спросил однажды у хозяина Максим Перов. Они тропинкам, усыпанным хвойными шпильками, и Олег Игоревич благосклонно кивал пижамным людям, то и дел навстречу. Полукруглый шрам на его щеке выглядел сегодня благородно, как след от сабли. Очень маленькой и очень кривой сабли.

— Сумасшедшие не догадываются о том, что они сумасшедшие.

— То есть, — решил уточнить Макс, — если я считаю себя безумным, я нормальный?

— Безумный Макс! — обрадовался Олег Игоревич. — Как я люблю этот фильм!

Обратить разговор к истокам Перову в тот день не удалось. Олег Игоревич был титаном словесного реслинга.

— Свинья белорыла, тупорыла, весь дом перерыла, — Максим давно заметил, что бессознательно повторяя подходящие к нужному случаю. А его застенная любовница Наташка начинала тихонько напевать романс «Я ехал полчаса до 18:00. И пение ее становилось всё громче с каждой минутой.

Клиентка, с которой так долго возился сегодня Макс, и впрямь напоминала свинью. Полная, курносая, в розовой. Вначале собиралась в Душанбе за одеждой, потом передумала — пусть лучше Кишинев. Конь терпеливо рыл землю, в краю работы и вообще делал всё, что мог, умел и был должен. В Москве ждали его звонка по поводу группы кор которые должны были прилететь в гостиницу «Космос». Важным пунктом отдыха у корейцев считались творческие женщинами, всё это нужно было организовать, подтвердить и так далее. Но белорылая свинья не давала коню перевести дух.

— Ну я прямо не знаю, Максимушка, ну что вы мне посоветуете? Где лучше, в Кишиневе или в Душанбе?

Макс не бывал ни там, ни там, но рассказывал о незабываемых впечатлениях в убедительных подробностях.

— Веселей, Савелий, сено пошевеливай, — радостно закричал он, когда свинья ушла пропонициас Душанбе была в конце коридора, общая на три фирмы — с окошечком и решеткой, за которой сидела бедная горбатая девушка.

Но не успел он сделать даже шаг в сторону факсового аппарата, как его опять отвлекли. Звонила Ольга, объяснит выйдет. Все ее десять пальцев тоже оставались дома, и Максим пригорюнился. Петрович с утра торчал в соседней комнате. Макса поражало, сколько книг успели написать про Сталина в последние годы. Они всё никак не заканчивались.

Когда дверь в комнату открылась, Максим был уверен, что это вернулась Свинья с квитанцией. Но нет, на пороге Длинный плащ — летящий, с квадратными крыльями на спине, под ним — мятный пиджак в тонкую клетку и ш цветы с цветочными сложностями. Макс мечтал о таком, видел что-то похожее в «комке» на Ленина, но цена на это что-то даж как на ювелирное изделие. Продавщица не ответила Макс, когда он поинтересовался: «Сколько?», лишь обожи усмехнулась. Наверное, с незнакомцем она не посмела бы так — тут же выдала бы и галстук, и самое себя.

Он был некрасив, решил Максим. Мал ростом, плюгав. Ботинки — на каблуках, прикрытых брючинами. К тому же картавил:

— Ну здьявствуйте, молодой человек!

За гостем в дверь попыталась пролезть Свинья. Картавый молча принял у нее бумажку и сказал:

— Подождите, гьяжданочка, за двейю.

Макс уже немного знал характер клиентки и был уверен, что сейчас она хрюкнет и начнет ближний бой. Но, странн покорно кивнула и закрыла за собой дверь в кабинет — так бережно, словно за нею спал младенец с кишечными коликами.

— Алексей Иванович Сигов, — представился гость, и Макс поразился тому, как промыслительно назвали его ро, скартавить!

— А вас звать... — гость защелкал пальцами не хуже испанской танцовщицы, и Петрович за стеной перестал шелестеть Сталиным.

— Максим.

— Отличное имя! Мне пьё вас йяссказывал Олег из психушки.

Петрович за стеной возмущенно кашлянул.

— Вы не один? Нехоёшо. Надо убьять постоённых.

Макс испугался — в каком это смысле убрать? Он судорожно пытался вспомнить, куда Ольга засунула номер Кердакова — звонить ему было велено в случае любой непредвиденной ситуации. Хотя... вдруг Сигова и вправд Игоревич? Слово «прислал», если честно, к Сигову верстается плохо, подумал Макс. А на сцене тем временем появился и багранный, как закат над ВИЗовским прудом.

— Здьявствуйте, вы кто?

— Ты сам кто такой? — возмутился Петрович.

— Водитель, — догадался странный гость. — А водитель должен водить! На-ка денежку и сгоняй по-быстьёму йюлет, колбаску, шампанского.

Петрович открыл было рот, но тут же его захлопнул. Макс глазам не верил — дерзкий водила вдруг превратилс халдея с откляченнным задом. Побежал вниз со всех ног, ключи от машины звенели, как ордена на груди ветерана.

— А мы тут пока поговорим, да?

Алексей Иванович Сигов оказался давним знакомцем Олега Игоревича, более того, именно ему психиатр был о знаменитого шрама на щеке. Темная история с карточным проигрышем, и, видимо, долг свой психиатр отдал не полностью.

— Ты, Максим, поедешь чейез неделю в Швейцайию. Не был там, никогда? Что ты! Такая стьяна! Жаль, что показываться, въеменно. Да, въеменно. Но ты пывезешь мне оттуда денежки. Я скажу, где забьять. И, конечно, ты Подхайчишься там. Погуляешь. Швейцайки кьясивые!

На лице Сигова застыло приятное, близкое его сердцу воспоминание.

Петрович вернулся и теперь поспешно раскладывал на столе богатое ларечное угощение — рулет имени Кравцев: жиринками, по собственной инициативе купленные батончики «Марс». Шампанское водитель поставил на стол так будто сам приобрел его для мамы, с первой полочки.

— Ну что, Максим, пьяитного аппетита! — Сигов потер ручки, они у него были неприятно маленькие, а на запястье нарисован чернильный крестик, похожий на распятие. И вышел вон.

На столе осталась лежать его визитка — черная, с золотыми вензелями, она была как эскиз для могильной плиты.

Петрович растерянно повернулся к двери, будто ребенок, которого мама впервые оставила в детском саду (н получки). Но вместо странного гостя на пороге выросла Белорылая Свинья, готовая обсуждать свою поездку далее. (у нее счастливо посверкивал золотой зуб.

— Шампанского? — спросил Максим.

Кем он был, загадочный Сигов? Нам, из будущего, известен ответ на другой вопрос — кем ему удалось ста Профессиональный игрок чудом, не иначе, сумел развязаться с опасным миром. Взял себе по случаю пару заводико: Сходил во власть, но неудачно, вынужден был трижды жениться, прежде чем нашел правильный вариант. Вариант р Сигов превратился в трепетного отца. Галстуков не носит ни при каких обстоятельствах! Видимо, в памяти жив с попыткой нападения и удушения — но об этом мы обещали ни слова.

На Максима таинственный гость произвел впечатление такой силы, что он долгое время сам себя спрашивал — поч пахло, прямо-таки разило деньгами, но деньгами в ту пору пахло в Екатеринбурге повсюду. Вспомнить того же к Мишгана Кердакова, который питал слабость к широким кожаным плащам в пол и к туалетной воде «Отто Керн». Нет чем-то ином. Алексей Иванович Сигов стал для Макса живым, пусть и картавым воплощением судьбы, которая г прерк — как в Пятой симфонии

дворец, — как в пьесе Симфонии.

Даже тогдашняя любовница Сигова, с которой Максу довелось встретиться в процессе подготовки швейцар особенной. Ядовитая ягода, смотреть смотри — а пробовать ни-ни. С Максом ягода кокетничала безжалостно — ресницы трепетали. А отъезд в город Цюрих приближался, визу открыли на диво быстро. Секретарь Ольга завидов всеми своимидесять пальцами барабанила по столу, возмущаясь странным выбором начальства. Ясно, что она куд бы с порученным делом.

— Так сидела бы на работе! — ворчала за стеной Наташка. Она долго боролась с собой, но потом всё же попросила ей из Швейцарии туфли — черные лодочки на каблуке, 37-й размер. Обвела ступню по контуру на листе бумаги одинна с другой стороны приклеила вырезанную из немецкого каталога картинку.

Деньги на расходы Сигов выдал широко, не пожадничал.

— Шли сорок мышей, несли сорок грошей, — эта скороговорка привязалась к Максусу накануне отъезда. — Две мь два гроша.

Олег Игоревич посоветовал пришить карман к трусам и вести себя на границе уверенно. Карман пришила мама, Н просьбой обременять постеснялся.

— Удачи, сынок! — мама провожала московский поезд и махала в окно так яростно, будто он уезжал на войну.

На соседей по купе — средних лет пару с высокой и хмурой дочкой — Максим Перов смотрел с чувством искренне Они ехали всего лишь до Москвы, а Макса ждала Швейцария.

Сутки в поезде он проспал маревым, пунктирным сном. Приходя в себя, первым делом ощупывал валютный карман, а потом спускался с верхней полки, как туман с горы. Хмурая девочка выразительно вздыхала над книжкой, ее длинная тонкая косица л как закладку. Максим курил в тамбуре, меняя одну вонь во рту на другую, а потом снова поднимался к своему сон девочки всю дорогу вязала крючком что-то неприятно-розовое, папа сопел над кроссвордом. Ночью, когда весь очередной раз проснулся для краткого перекура — и увидел, как мама девочки стоит перед зеркалом на двер внимательно разглядывает себя, приподнимая груди ладонями. Грудь были вполне красивыми, и это выглядело стра лицо, и шея, и живот, и даже руки, лодками держащие круглую белую плоть, им уже не соответствовали. Честно ска была здесь не к месту — как и вся эта сцена. Мама девочки убрала наконец руки и повернулась к Максиму. Он успел крепко закрыть глаза.

Проспал бы, наверное, и Москву, но его разбудила проводница.

— В пруду у Поликарпа три караса, три карпа, — пыхтел Максим, еле успевая за новыми знакомыми — Миша и хоккеисты, а нынче известно кто, уговорили взять одну тачку на троих. Макс и без Мишипаши знал, что на пути аэропорт «Шереметьево-2» многих безжалостно грабят на полпути, а некоторых даже убивают. Потом костей не сы Миша и Паша неслись на захват такси так яростно, что их без труда можно было представить себе на льду, с клюшка сам испугался этих пассажиров и за всю дорогу от вокзала до «Шереметьева» не произнес ни слова. Паузу заполняли магнитолы: «Фáйна, Фáйна, Фáйна-Фаина́ фáй-на-на».

— Да выруби ты их, — взмолился наконец Пашамина, когда машина уже подруливала к «Шереметьеву». Над зданием аэропорта висела грозная туча — словно громадная меховая шапка из тех, что вошли в моду минувшей зимой.

Как ни странно, рейс не задержали. Самолет Ту-154 Б-2 был полупуст и почти не тарахтел в полете. Макс вытянулся и сердобольная пожилая стюардесса заботливо прикрыла его упавшей курточкой. Снилось короткая и звучная, как скороговорка: «Гроза грозна, грозна гроза».

Гроза мчалась какое-то время за самолетом, но потом отстала и, поплеывая, развернулась в сторону Урала. Макс будто мало ему было целых суток в поезде — и во сне натягивал на себя курточку. От нее пахло домом и мамой.

Швейцарский пограничник с желтыми, как сыр, волосами так внимательно изучал его паспорт, что Максим занервничал.

— Урляуб? — спросил пограничник.

Перов пожал плечами. Он не знал немецкого, да и по-английски мог выдать из себя максимум какое-нибудь «опе страшно — что за урляуб, бог весть. К счастью, пограниц вытащил из стопки документов, которые Перов просунул в бронею отеля в Цюрихе.

— Урляуб, — кивнул он и поставил отметку о въезде.

Какое-то время Перов не мог заставить себя выйти из аэропорта — собирал бесплатные рекламки на стендах, гулял трудом удержавшись от того, чтобы не купить прямо здесь шоколадную корову для мамы и часики для Наташки. Ва грела кожу, но потом начала, по выражению Петровича, «жечь ляжку». Когда Макс вышел на улицу, там уже было тем длинная очередь такси. Перов сел в первую машину и сунул водителю листочек с названием отеля. Назывался отель п «Адлер».

Это был самый центр Цюриха (местные говорили «Зюрик»), из окна, если изогнуться вправо, можно было увидеть огромным трудом поселился, напугав своей безъязыкостью девушку-администратора. Вспомнилась Ольга — у нее, в пальцам, был еще и свободный английский, с «йоркширским», как она настаивала, произношением. Наверное, если этом, он действительно отправил бы за деньгами Ольгу.

Макс дивился всему: старинное здание, картины на лестнице — коровы и лошади в богатых рамах, неслыханно и номере, крохотное мыльце, которое он, разумеется, сразу же положил в чемодан. Если бы Максим знал, что это зда Ленина, то удивился бы еще больше. К Ленину Макс сохранил смешную детскую любовь — он не мог предать з мальчика с октябрытской звездочки. Он в самом деле был верным, словно конь.

В ванной нашелся еще один кусочек мыла. Максим спрятал и этот — один Наташке, другой маме. Труссы с валю всякий случай взял с собой, повесил на дверную ручку и только потом влез под душ.

Человечек Сигова согласно инструкции свяжется с ним завтра. Максим надел чистую, всё еще не согревшуюся отсека рубашку, брызнул ниже пояса туалетной водой «Самарканд» — так, на всякий случай.

Шнуруя ботинки, Перов всегда гримасничал, как отец, когда стягивал с себя высокие охотничьи бахилы. Максим помнил отца, хотя тот ушел от них десять лет назад и за это время прислал сыну лишь несколько открыток — фотографии. Макс шурился, сам зная, как смешно выглядит его лицо в такую минуту.

И, словно бы отозвавшись на эту мысль, выхватив ее из воздуха, за стеной кто-то рассмеялся.

Максим прислушался.

Стена молчала.

Он взялся шнуровать второй ботинок.

И тогда кто-то рассмеялся снова.

Это был не страшный хохот водевильного злодея. Не дикое ржание подпившего Петровича. Не веселый колокс хихиканья. И не усталый смех мамы.

Это был искренний смех молодого мужчины, который услышал удачный анекдот. Корбонайлу, так мог бы смеять Алексей Иванович Сигов, но Макс никогда не слышал его смеха. Максимом, что мог позволить себе Сигов, ког

Алексей Иванович Ситов, но Макс никогда не слышал его смеха. Максимум, что мог позволить себе Ситов, когда заходились от смеха, — это резко растянуть губы в улыбке. Так улыбался бы сжатый со всех сил ручной эспандер.

Максим взял со столика стакан, приставил его к стене и приложился ухом, как внимательный, обеспокоенный лекарь. Так его научили делать в пионерском лагере «Юный пожарный».

Спина молчала.

— Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали, — довольно громко и уверенно продекламировал Максим. Вероятность вылавировать! Вот маловеры: веровали бы — вылавировали бы.

Стена молчала.

Не произвели на нее впечатления ни дикция, ни артистизм.

Макс вернул стакан на бумажную кружавчатую салфеточку — кстати, тоже надо будет забрать домой. И вышел из номера.

На двери его комнаты был написан краской номер 14. Соседний должен был нумероваться пятнадцатым, но нет, э-э, посчитал. Цифра — 15 Макс увидел в самом конце коридора — зрение у него было как у охотника. Родной двадцатый Перов выглядел в Екатеринбурге первым на всей остановке. А там тоже собирались люди опытные, прозорливые.

Максим прижался ухом к неподсчитанной двери, но там было тихо. Под ногами нервно скрипнул старинный паркет.

«Чего с ума сходить?» — с Наташкиной вопросительной интонацией сказал себе Макс и зашагал к лестнице. Девушка молча помахала ему рукой.

3

Маленькую площадь окутывал мягкий фонарный свет. Люди, несмотря на осень — а был сентябрь, сырно-желтые стульчики прямо на улице, вокруг бегали официанты в смешных женских фартуках. Макс был, как всегда, голоден, и пара, которая вылавливала при помощи тонких палочек какую-то снедь из дымящегося горшка. Мужчина — в длинном шарфе, женщина — в кружевных перчатках. Выглядели они как привидения, но жевали как вполне реальные люди. Макса накрыл аромат сыра, но он никогда не позволил бы себе тратить валюту на еду. Тем более что в номере его ждала полукопченая Мужественный человек Максим Перов сглотнул слюну и пошел по направлению к Лиммату. Над аккуратными домиками торчали колокольни — как сигареты, вытянутые из новой пачки. Памятник у реки еле удерживал коня, вставшего на дыбы.

Макс кричать был готов от голода. Повернуть назад, к полукопченой и кипятильнику, или всё же погулять по городу? Почему не хватило ума поужинать перед выходом? Почему ума вообще никогда не хватает — точнее, зачем он так был особенно к вечеру?

В задумчивости Максим шел по мосту через реку. Швейцарский флаг — медицинский с виду — реял на носу позади, воды тянуло холодом.

Холод и голод сразу — перебор, как в картах.

Даже не ступив на другой берег, Максим развернулся и поскакал обратно, в гостиницу.

Официант в женском фартуке уносил со столика привидений остывший горшок. Смятая кружевная перчатка лежала на бумажной салфетке.

Максим кивнул девушке-администратору и вмиг взлетел на свой этаж.

Там было темно и тихо.

Сразу включил телевизор, как это было принято у них дома. Весь экран занимала загорелая блондинка в откровенной легке походила на любовницу Ситова, но говорила, к сожалению, на немецком.

— Йа, йа, — повторяла блондинка, а Макс тем временем резал колбасу, облизывая пальцы. Мелкие пузырьки облеплили как будто кто-то икру метнул, пришло в голову Макс, и блондинка в тот самый момент отчаянно и хрипло захохотала.

Возможно, это была юмористическая передача.

Макс заварил чай и выключил телевизор.

За окном шумела старая липа — просветы в осенней кроне, подсвеченной фонарем, были похожи на дырки в сыре. почти всю колбасу, выпил две кружки крепкого чая с конфетой «Гулливер» — ее, как маленькому, сунула в сумку прочтись на вокзале. Максим задумчиво разгладил фантик. На нем была изображена огромная, как у Пушкина продолжения; в ноздрю Гулливеру совал копы лилипут с восточным плюмажем на шапке.

За стеной кто-то негромко рассмеялся.

Точно так же, как час назад.

«А ведь нет», — похолодел Макс. Смех был теперь с полустоном в финале. Как будто у хохотуна кончался завод.

И тогда Максим Перов разозлился.

Да, у них в «Эркере» тоже были тонкие стены, но там никто не ржал, как дурак, и не пугал смехом соседей.

— Ха! — дерзко сказал Максим. — Ха-ха-ха!

За стеной замолчали.

Максим провез по полу стул, чтобы раздался мерзкий скрип. Стул не подвел, но в ответ не поступило ни звука.

Стреб со стола колбасные шкурки и газетный лист «На смену!» в жирных пятнах. Стало вдруг очень одиноко.

Вот была бы здесь Наташка. Или хотя бы Ольга. Она бы поговорила с той девушкой-администратором, объяснила акцентом, что нельзя так ржать среди ночи.

Кстати, ночь уже. В Свердловске... то есть в Екатеринбурге — полночь.

«Была бы здесь хотя бы мама», — подумал Максим Перов, безуспешно взбивая узкую и длинную, как червяк, подушку.

Он свернул ее пополам и засунул голову внутрь.

Застенный житель, кажется, утомился, и Максим Перов уснул.

Ему снился зимний день на улице Мамина-Сибиряка. Они с Игорем Кравцевым идут в ЦГ — Центральный Гастрономический — обсуждают какие-то пластинки.

— А я же сейчас в Швейцарии! — хлопнул себя по лбу Максим, не покидая сна. На голове у него была огромная елочная игрушка, Игорь, привезу, что захочешь!

Потом Кравцев исчез, и перед Максимом выросла телефонная будка, красно-желтая сестра свердловских трамваев. Они были сплошь покрыты морозными перьями и папоротниками. Автор сценария сна, который снился Максиму в отеле, был на том, что герой должен открыть будку и войти — но дверь примерзла, и Максим дергал за нее тщетно. У него было жарко, будто капали на маковку горячей водой. В конце концов дверь поддалась — и там на полу лежала смятая подушка, явно скрывавшая нечто неприглядное. А телефонная трубка на длинном шнуре висела головой вниз. Искать в кармане «двушку», но потом услышал, что из трубки несется чей-то голос, и поэтому прижал ее к своей растрепанной голове.

В трубке смеялся человек. В его смехе не было ничего от ликования торжествующего злодея, нежной радости ма угодливого хмыканья подхалима. Это был всё тот же «похохот» молодого человека, с довольно-таки мерзким подстановиванием в финале.

Максим вылез из-под мокрой от пота подушки. Смех за стеной звучал теперь непрерывно, как будто в записи — снова и снова.

Перов со всей силы саданул кулаком в стену — и тут же охнул от боли.

Ответом стал новый приступ смеха.

Макс натянул брюки, прихватил трусы с валютным карманом и выскочил из номера. Со всей силы начал барабанивать в дверь.

Ему никто не ответил.

— Открывай, — кричал Максим. — Опен зе до, сука!

— Эншульдигун, — из-за двери пятнадцатого номера выглядывала дамочка, та самая, что ела с мужиком в шарфе потом потеряла перчатку. — Вас ист лос?

— Я спать не могу, — сказал Максим. — Он ржет там и ржет. Как лошадь.

— Ихь фершгее зи нихт, — сказала дамочка. Она была в кружевном, как из морозных перьев и папоротников, халатике.

— И я вас нихт, — кивнул Макс. Он словно увидел себя со стороны — голый по пояс, в руке — трусы, полные денег. Молотит в дверь, за которой, судя по всему, никто не живет.

Но кто смеется-то? Кто не дает коню спать?

Дамочка пожала плечами и закрыла дверь.

Максим пошел к себе. Прислушался — вроде бы тихо. Он свернул из газетной бумаги что-то вроде «турундочек», вставил в уши и снова лег. Подушка была всё еще влажной. Максим перевернул ее на другую сторону и начал думать про Наташку.

Проснулся он утром, в комнате было светло и жарко, как летом.

Посмотрел на часы — восемь. Вчера администраторша что-то объясняла ему про завтрак — слово «брэкфаст» Макс же опознал.

За стеной — тихо, как в гробу. Гость Зюрика не отказал себе в удовольствии подойти к ней лицом, если можно так гаркнуть что есть мочи:

— Дрыхнешь, гаденыш?

Так в кошмарах Перова орали на новобранцев украинские прапорщики.

Стена не ответила.

— Ха-ха-ха, — мрачно сказал Максим.

Картинка над кроватью — портрет очередной коровы — закачалась, будто бы от смеха.

— Я закажу вам другой билет.
— Хорошо, — согласился Макс.
— Я могу вам еще чем-то помочь? — спросила Майя, когда они выпили — Макс в полглотка, славистка — медленно, растягивая по капельке, — горький кофе, похожий с виду на жидкий гудрон. Чувствовалось, что Хлебников встал между ними навсегда — как непреодолимое препятствие. Максим решил убрать поэта с дороги и пальнул наугад:

— А чем вы еще занимались в университете? Кроме стихов?

Попал.

Майя улыбнулась — зубки у нее были красивые, белые и не напоминали ни о каких буквах.

— Ой, ну я еще писала одну интересную работу — прозопопея у Есенина.

Перов понимающе улыбнулся. К счастью, на этом самом месте Майя вышла в туалет, и, глядя на ее тюленьи формы, обтянутые брюками, Перов подобрал значение для слова «прозопопея». Полея у славистки была не прозаическая, а вполне себе впечатляющая.

Вернувшись, девушка бросила на стол пару монет, а потом хлопнула себя по лбу:

— Ах да!

И вынула из сумки объемный картонный пакет.

— Пересчитайте.

— Ну не здесь же!

— А где?

— Пойдемте ко мне в гостиницу.

Майя посмотрела на Перова в упор. Было в ее взгляде что-то опасное и в то же время жалкое. Левой рукой она пыталась незаметно расстегнуть пуговицу на поясе брюк — чтобы не впивалась в живот, по всей видимости.

Когда заговорила снова, голос у нее был охрипший.

Архип осип, Осип охрип, подумал Максим.

— Что ж... если вы настаиваете.

Сигов строго велел ему пересчитать все деньги, до последнего доллара.

Славистка положила пакет обратно в сумку и снова тряхнула волосами — будто опустила занавес.

По дороге в гостиницу она беспощадно болтала — и напомнила Максу турбовинтовой Ил-62, который, по рассказам туристов, беспощадно тарыхтел, пока летел до Кипра шесть с половиной часов с посадкой в Астрахани. От коротенькой прогулки с Майей конь устал больше, чем от целого рабочего дня. Даже каменный святой, и тот смотрел ему вслед с сочувствием. Но когда до «Адлера» оставалось всего ничего, Майя вдруг вскрикнула и схватила Макса за руку.

— Гук маль! Та афиша, видите? Выставка! Искусство душевнобольных! Это так интересно, вы будете в восторге. Это так близко русским! Я приглашаю.

И потянула его в какой-то узкий переулок, напомнивший Максиму щель за пианино, стоявшим дома. Туда однажды провалилась родительская свадебная фотография в рамке из металлических шариков — да так и осталась там. Макс пытался вытащить ее хокк-клюшкой, но рамка, словно живая и раненая, отползала от него всё дальше и дальше. Мама сказала, пусть лежит там хоть до второго пришествия морковкина заговенья.

Майя вдруг замолчала, но руку его так и не выпустила, хотя они с трудом помещались в этом переулке — швейцарка была все-таки слишком уж тучной.

Афиша мелькнула впереди еще раз, словно указатель, — и вот Майя уже ведет его на второй этаж нового здания, которое очень старалось выглядеть старым. Максим вертел головой, пока Майя покупала билеты и болтала по-немецки с кассиршей. Немецкий язык (похож на шум трещоток и шипение масла на сковороде. Бедный Перов опять хотел есть — но на обед сегодня было искусство.

«Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом», — думал Максим. Будто командир поверженного войска, он с тоской обвел взором поле боя, тесно завешанное картинами — все они были в мясистой, красно-розовой гамме. И назвать их картинами было, честно сказать, сложно — похожи скорее на детские каляки-маляки, которые рисовала Наташкина племянница. Выбросить — жно и хранить в таком количестве длиннорылых принцесс и лошадей, похожих на кроликов, у Наташки тоже не получалось. На работе (переворачивали принцесс рылом вниз и выкладывали на них бутерброды — две золотые шпротины лежат «валетом» на кусочке черного хлеба, крохотный фейерверк укропа, лимон. Наташка деликатно выплевывала горькие косточки в ладоньку.

— Это работы Элоизы, — объяснила Майя. Она так жадно смотрела на картины, что Максим совсем загрустил. И всё же слышал какой-то частью слуха, что Элоиза — знаменитая шизофреничка, ее работы всерьез выставляются, и смеяться над ними может тол совсем неразвитый зритель.

Максиму Перову нравилось творчество художников-передвижников, а мама любила импрессионистов. Красно-розовые рисунки Элоизы, вероятно, смогли бы заинтересовать Олега Игоревича, но его здесь не было. А Макс видел в них только отражение своего старика-страха — безумия.

Почти в каждом рисунке Элоиза изображала обнаженную женскую грудь — она у нее всегда получалась похожей на пончики с кремом или на свиную морду. Макс подумал, что в детстве художницу, возможно, напугала обнаженная женская грудь — но делиться мыслями Майей не стал. Она застывала подолгу перед каждым рисунком, мучение всё длилось. В конце концов швейцарка насмотрелась на рисунки и сама стала красной, как будто сошла с одного из них. В галерее было очень жарко.

— Пойдемте, — неохотно сказала Майя. — После таких сильных визуальных переживаний я не всегда могу говорить. Простите.

Через десять минут они уже сворачивали с набережной к «Адлеру». Из ресторана несли веселый, похожий на лай женский хохот. Максим тут же вспомнил свою беду:

— Майя, вы можете поговорить с администратором? В номере рядом со мной кто-то смеется всю ночь.

— Конечно, я поговорю. Можете не волноваться об этом.

Она действительно принялась беседовать с администратором — теперь на смену заступил блондин с осветленной, как носили лет пять назад, челкой. Блондин сосредоточенно хмурился, слушая Майю, а Максим в изначальном смысле слова немцем сидел на диванчик, разглядывая картину в раме. Там был изображен конь чистых кровей и пышных статей. Каждый мускул был прорисован художником любовно, что картина могла сойти за учебное пособие для ветеринаров.

— На йа, можно идти в номер.

— А что он сказал?

— Сказал, что рядом с вами никто не живет. Там темная комната, кладовка, которую открывают очень редко.

— Но там смеются!

— Максим, вы впервые за границей, и сразу — в Швейцарии. Я думаю, вы слегка возбудились из-за этого.

Или она не слишком хорошо знала русский, или, напротив, знала его слишком хорошо.

— То есть комнату мне не поменяют?

— Сейчас я поднимусь вместе с вами, и мы послушаем, кто и как там смеется. А потом примем решение, гут?

Она уговаривала его как маленького. Даже за руку зачем-то взяла. Ладонь мягкая и белая, словно булочка. Булочки! В номере у нее лежит сокровище — пакет, набитый утренними лакомствами. Макс поспешно вызвал лифт, он тут же явился, узенький, как девочка. Пони они ехали, Перов вынужденно разглядывал Майину прозопопею, размышляя о том, что, если она подпрыгнет, лифт совершенно точно остановится. И они застрянут.

Но девочка-лифт остановилась на нужном этаже, и Макс и Майя ступили на красную, в гамме Элоизы, ковровую дорожку.

Там опять было тихо. Майя показала пальцем на дверь комнаты смеха — Максим кивнул, что да, та самая. Ему вдруг стало ясно, что никаких звуков они сегодня не услышат. Майя решительно постучала в дверь — но открылась другая, 15-й номер. Кружевная дамочка, наряженная сегодня в тяжелый твидовый пиджак, нахмурилась при виде Майи, но всё равно кивнула и поздоровалась:

— Халло.

Максим вспомнил, как в детстве играл с девочками в «Стоп, хали-хало». Девчонки почти всегда уговаривали его, хотя ему самому эти игры казались глупой. Такой уж он был — делал даже то, что не нравилось, если хорошо попросит.

швейцарского тулена: такой уж он был — делал даже то, что не нравилось, если хорошо попросишь.

Опять шипело масло немецких слов, Майя и соседка говорили так долго, что Макс заскучал. Он открыл дверь и ахнул — пакет, который он так рассчитывал, был пуст и валялся на полу. На столе грустно блестела бутылка водки, недопитая со вчерашнего дня.

Майя вошла следом, улыбулась. У нее была привычка — Макс заметил это еще в кафе — прижимать пальцами ушные мочки. Она проверяла, на месте ли сережки, но выглядело это так, будто Майя приводит в действие какой-то сложный механизм.

— Соседка говорит, что здесь никого не было, что никакого смеха она не слышала и что ты — странный.

На этих словах швейцарка еще раз улыбулась. И расстегнула кофточку.

— Я бы выпила, — призналась она. — У тебя там водка, да?

Максим вытащил из сумки то, что осталось от колбасы. Наливая водку, он вдруг вспомнил, как Мишган Кердаков однажды следил «Эркере» за розливом ликера. Ликер распределял по рюмкам бережливый Петрович. Был женский день, Восьмое марта.

— Ты чё как кошкам? Лей нормально, — велел Мишган.

Петрович трясущимися руками схватил высокую бутылку.

Максим выпил, вцепился зубами в колбасу. Майя тянула водку по капельке, будто вкусный коктейль. Сейчас она вылезет, как джиг из своих штанов. А грудь у нее, наверное, как на рисунках Элоизы.

«Швейцайки кысивые».

Макс еле успел добежать до туалета, там его обстоятельно вырвало, а когда он вернулся, Майи в комнате не было. Как и ее сумки, как пакета с деньгами. Максим побежал к лифту, жал на кнопки, спускался по лестнице, пытался говорить с портье — но славистки и сл простыл.

Кажется, он всё испортил. Неудачник. Вбили кол в частокол. Водовоз вез воду из водопровода. Стоп, хали-хало!

Максим упал на кровать в прыжке — как делал подростком, выводя из себя маму. Что делать, что делать?

Когда за стеной раздался хохот, Макс улынулся в ответ горько и облегченно — как при встрече с нелюбимым, но неотменимо родным человеком.

— О, рассмейтесь, смехачи! — сказал Перов. И швырнул в стену пустую бутылку из-под «Пшеничной». Бутылка почему-то не разбилась, а мягко отскочила от стены и упала на кровать.

— А говорили, не знаете Хлебникова, — услышал он за спиной. Майя! Она стояла на пороге, покусывая локон. А потом вдруг подняла сумку в воздух — и прислушалась к ней, будто в сумке звонил телефон. У этой девушки был поистине неиссякаемый запас странных привычек.

— Я договорилась, вас переведут в другой отель. Он в двух кварталах. Собирайтесь! Максим, вы слышите меня? Соberитесь! Да не бутылку! Бутылку вы можете оставить.

— Все-таки кто там смеялся? — спросил Максим, когда они уже выписались из «Адлера».

Майя не ответила.

В новой гостинице, названия которой изможденный Перов не запомнил, Майя заставила его пересчитать деньги, потом погладила по голове и ушла. Пол скрипел под ней, как под тачкой.

Максим забыл о голоде, о Наташкиных туфлях, он забыл даже о Сигове. Сил хватало только на то, чтобы уложить под подушку пакеты с деньгами.

... Может, там, в номере, жил болящий родственник хозяев отеля? Сумасшедший, безумный Макс? Сдать в дурдом жалко и дорого — тут живет себе под присмотром, спит, ест. Ну, смеется иногда, так и что? Максим думал об этом недолго, он быстро уснул. А ночью проснулся... от смеха за стеной. Его прокручивали, будто в записи, раз за разом, один, другой, третий и так далее — до лежащей, упавшей на бок от бессилия или от смеха восьмерки. До полной бесконечности.

5

Нам, из ближайшего будущего, очень хотелось бы, чтобы эта история окончилась хорошо — хотя бы для Максима Перова. Но закончилось всё, как обычно, плохо.

Даже мы, из будущего, что можем мы знать о безумии? Не больше, чем о смерти, снах и коме. Что, если это и вправду — кома? Что, если сумасшедшие всё слышат и понимают, но не могут даже моргнуть в ответ?

Или это сон, где надо бежать, спастись, а у тебя ноги ватные и будто прибиты к земле.

Или — смерть, когда мы оплакиваем безумного, а его душа в это время ходит рядом с нами, мягко касаясь, но мы не видим и не чувствуем ее, не можем даже моргнуть в ответ?

Группа студентов топталась перед входом в отделение.

Доктор, сдержанно приветствующий гостей — жданных, но не нужных, — был слегка похож на Фрейда, и ему нравилось это сходство — он подчеркивал его сколько мог. Очки-кругляшки, борода, морщина на переносице в виде летящей чайки. Впечатление смазывал ртом шрам на щеке — полукруглый, похожий на растущий месяц. Студенты старались не смотреть на шрам, но он притягивал, как вто улыбка на лице. Тем более улыбки первой от Олега Игоревича дожидаться было непросто.

— Что такое гелотология в теории — вы знаете. Зачем она нужна на практике? А бес ее понимает.

Высокая девочка в черном свитерке — без халата, без колпачка — недовольно цокнула языком.

— Нам сказали, вы покажете случай!

Олег Игоревич подошел к девочке так близко, что она отвернула от него лицо. Испугалась, как поцелуя.

— Как звать?

— Наталья.

— Такого случая, Наташенька, ты еще точно не видела.

Доктор махнул рукой, и студенты потекли за ним белой рекой, в которой мелькало черное пятно — Наташкин свитерок. Она была ей и в модельных туфельках на каблучках — кто так, скажите, ходит на практическое занятие?

В палате сидел на койке молодой мужчина. Он смеялся и рисовал, рисовал и смеялся. Смех его был похож сразу и на нервный девичий хохот, и на грубый гогот подростков, и на усталое женское хмыканье. Смех звучал, как будто в записи, которую прокручивали снова и снова. А рисовал он красным фломастером коней и голых женщин с грудями, похожими на совиную морду.

Или на пончики с кремом.

Наташка вытянула шею — как черепаха за одуванчиком.

— Максим Перов, — представил больного Олег Игоревич. — Человек, который смеется. Иногда он еще и рассказывает интересные вещи — будто бы его зовут Макс Рокатански и он недавно ездил в Цюрих. Не бывала в Швейцарии, Наташенька?

Студентка не слышала профессора. Она подошла к Максиму ближе, чем разрешалось на инструктаже, наклонилась так, что из сумки выпал баллончик с дезодорантом «Юлия» и прокатился через комнату, словно граната. Максим схватил Наташку за руку и красным фломастером нарисовал ей на запястье, рядом с часиками, букву W.

— Роли дублировали Александр Новиков, Ольга Сирина, Игорь Тарадайкин, — сказал он.

И засмеялся.

Без фокусов

Никто не мог вспомнить, как их занесло в этот, с позволения сказать, клуб.

Начало вечера — классика, пиво у Гореловых. Потом девочкам стало скучно, и Горелов, который хотел сразу и Маш (не свою Оксану), потащился за ними следом. Оксана была, по мнению друзей Горелова, «мудрой женщиной» — так обоим несчастных, которым супруг изменяет с открытым забралом, но они стоически терпят, потому что у них — любовь, да одна навсегда.

Вот поэтому она и побежала за Гореловым — на ходу наказала дочке смотреть за сыном, а сына просто — наказал четыре дня, раз он отказывается немедленно лечь спать. Захлопнула дверь, там рев на весь дом.

Часом раньше Маша стащила у Витечки таблетку циклодола, и Горелов волновался, как это на нее подействует. Пусть тихо, улыбалась куда-то внутрь себя. Витечка — у него бабье тело и розовые безволосые ноги, мстительно вспомнил попытку успеть за быстрым Гореловым. Витечка у них часто ночевал — насмотрелись в разных видах.

Лена пела что-то из репертуара общеобразовательного хора:

— Плещутся звезды в мерцающих далях, светится снег, хоть в ладони бери-и-и!

— Хорошие стихи, кстати, — льстился Горелов.

Лена запела ту же строчку, с начала:

— Плещутся зве...

— ...зды! — басом поддержал Витечка.

Препотешная у них была компания. Образовалась сама по себе — как опухоль. Причем злокачественная, думала (свет, что опять не выпит). Ей-то с утра на работу, это остальные могут, как выражается Витенька до двух. Удивительно вульгарен этот Витечка, но на лицо — интеллигент, палец вечно на переносице, очки поправляет. Г заметил, что Витечка похож на Чикатило — и правда, мог бы сойти за брата. Оксана всякий раз удивлялась таланту каждого двойников. Когда он встречал людей, ни на кого не похожих, то буквально изнемогал, подыскивая нуж Примерял и так, и этак! На памяти Оксаны в подобных поисках Горелов забуксовал лишь дважды — так и не смог г Светке, бывшей Витечкиной жене, и вот теперь, совсем недавно, — Маше. Маша всё еще ходила без пары, зато все пристроены.

Лена похожа на актрису Анну Самохину, и это, к несчастью, было горькой правдой.

Сам Горелов напоминал писателя Сент-Экзюпери.

Оксана, как он раньше утверждал, — просто вылитая Кейт Буш. К сожалению, слово «вылитая» теперь воспринимали вылили воду из чашки, и нет ее. Забыта. Кто помнит про воду, которую вылил? Или даже — выпил?

Ну и плевать.

Прополоскать — и сплюнуть, как она велит пациентам.

Оксана второй год работает в стоматологическом кабинете на заводе. Не врачом, как мечтала, — всего лишь ассистент, включить лампу, подать салфетку, убрать салфетку. Прополощите хорошо и сплюньте.

Детские мечты о медицине — пусть и подшлифованные мамой, но всё равно искренние, — после встречи с Гореловым после анестезии. Это было на первом курсе. Оксана готовилась к зимней сессии, когда одноклассница пригласила. Она честно отказывалась — но эта девочка, Эля, была такой настойчивой! Проще было согласиться.

Вот так — всего один концерт, и вся жизнь изменилась. Между рядами в зале, куда Эля вытащила Оксану неподвижный Горелов. Все танцевали, махали шарфами, а он позволял себя «обтекать», как скала — волнам. Прекрасно, совершенно нездешний — ни пить ни есть француз.

В итоге Эля успешно сдала первую сессию, тогда как Оксана перешла через дорогу — и перевелась в медицинское училище презрительно настроенные люди. Потянуть одновременно институт и Горелова оказалось не для противники равной силы.

Строго говоря, Оксана не могла обвинить Горелова в том, что он загубил ее судьбу, не дал учиться, забрал лучшие годы. Она сама так отчаянно захотела быть с ним вместе, что не раздумывая бросила всё, что у нее было, к его ногам напоминал ей этот факт — без лишнего злорадства, но и без сочувствия.

Было у Оксаны не так уж и много. Институт, мечта стать врачом. Репутация ответственного человека. Гордость, пусть и закуска.

Мама так плакала, когда узнала про медулище! Как будто Оксана с собой покончила, а не с высшим образованием.

— Стоматолог — такая верная профессия! — причитала мама. — И деньги хорошие получают, а кем ты будешь после медучилища?

Оксана поклялась, что снова подаст документы в институт — вообще она так и хотела, но у них родилась Юля, Миша. Какой там институт, она училище-то окончила с грехом пополам в три подхода.

То ли дело сейчас девчонки учатся — Маша и Лена были студентками и будущими социологами, но при этом Оксана видела их с рюмкой водки у себя дома. Каждый вечер, иногда — даже ночью.

Эти студентки — достижение Витечки. Он познакомился с ними на рынке, привел в дом — и Горелов тут же влюбился. Горелов и раньше постоянно влюблялся, но это всегда происходило вне дома — Оксане хватало ума не выяснять Горелов без конца слонялся по концертам и мастерским, а теперь, напротив, стал отчаянным домоседом.

— Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод, — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала. Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод, — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала. Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод, — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала. Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод, — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала.

Оксана слушала его и думала о том, что Витечка, Горелов и Маша с Леной отлично раскладываются на дважды давая лишняя. Не говоря уже о детях. Горелов относился к сыну и дочери хорошо — но только первые пять минут общения с Мишей и Юлей у мужа наступала прямая смертельная усталость — поэтому Оксана отправляла мамой телевизором, который, в общем, и занимался их воспитанием. Спасибо маме, что забирала их к себе на выходные выслушивала. Мама была педагогом и всегда подчеркивала, как важно выслушивать детей — даже если это неверно мамой не спорила, просто у нее все силы уходило на то, чтобы не потерять мужа.

Лена принимала гореловских детей терпеливо, хоть и без восторгов (однажды даже принесла с собой два чупа-чупса, выносила — демонстративно курила в кухне, чтобы Оксана увела малышек наконец к телевизору. Горелов разрешал захотят, радостно хохотал каждой их шутке, бегал к таксистам за водкой. Однажды, когда Лена прихорашивалась в отражение в зеркале — мини-юбка, черные чулки, новенькие туфли на высоких каблучках, Оксана вздохнула:

— Хочу такие же туфли.

— А ноги такие ты не хочешь? — ядовито переспросил Горелов. Оксана вспыхнула, ушла в комнату к детям и там Миню, что он от несобранности заплакал.

мину, что он от неожиданности заплакал.

Оксанина мама любую свободную минуту тратила на то, чтобы раскрыть дочери глаза на ее несчастную жизнь. И разве это нормально, когда дома каждый вечер народ, все постоянно пьют и прокуривают шторы? И еды не напасешься.

— У нас Юрий готовит, — вступалась Оксана. Горелов действительно готовил — особенно ему удавались лапша и А Витечка, отрабатывая постой, каждую неделю приносил продукты — он сутки через двое сторожил в коммерчес Малышева.

— Всё Юрий да Юрий, — сердилась мама. — Не припомню, чтобы он с тобой хоть раз так ласково!

Горелов с Витечкой были профессиональные меломаны. Оба страстно ненавидели бардовскую песню, и, как то возникал призрак инженера с гитарой, его тут же выносило из поля видимости — Горелов и Витечка не допуска возможности отравить свой слух песней «Милая моя, солнышко лесное».

Витечка работал сторожем, а днем продавал на Шарташском рынке шапки, которые шила из трикотажных женск жена Светка. То есть развестись-то они развелись, из квартиры Светка его выгнала, но шапками торговать всё равно з Витечка спяну терял непроданные шапки по пути домой, и тогда Светка звонила Гореловым с разборками — и телефонной трубки, казалось, летели брызги слюны. Витечка дважды в год лежал в дурдоме, но Светка об этом не зн — сразу выгнала.

— Здоровых детей от него не будет, — сказала как отрезала.

Оксана завидовала Светке — она бы так не сумела. Что там шапки — Горелов всю жизнь ее мог выбросить под к бутылку. Если уже не выбросил.

Еще до развода с Витечкой Светка однажды сказала Оксане, прищурившись, как от дыма:

— Тебе надо нормально себя с ним поставить. Это ж твой дом! А ты в нем даже не хозяйка. Всё Юрий да Юрий! Ко «Говнюрию»?

Им бы с мамой Оксаниной поговорить. Отличное было бы взаимопонимание. А тут...

Ну что она скажет?

Как только рот раскроет — Горелов тут же уйдет. Он ее сто раз предупреждал, хотя и одного хватило.

Вот потому Оксана молчит — и терпит.

Интересно, как Светка отнеслась бы к Маше и Лене? Наверное, как Стивен Сигал в фильме, раскидала бы их в разн Светка перестала у них бывать.

У Маши — отличные зубы, а у Лены — скученные, передние налезали один на другой. У худеньких девушек часто т как будто передразнивают общее сложение. Оксана привыкла смотреть всем в зубы, даже у дареного коня первы челюсть.

— Как тебе не противно ковыряться у людей во рту? — удивилась однажды Маша.

Витечка неожиданно заступился:

— Ковыряет не она, а врач. Оксанка только салфетки подает и пломбы смешивает.

— Спасибо тебе, Витечка, за коллегиальность, — сказала Оксана. Маша недовольно нахмурилась — ей не понрави водятся в свободном употреблении такие слова. Перевела разговор на что-то музыкальное, потом села на любимого Пришпорил — эгей! Филонов, Мунк, Сальвадор Дали...

Оксана в таких случаях незаметно уходила с кухни — ей тяжело было видеть Горелова. Взгляд его метался с однс другое — как свет от фонаря бегущего человека.

Горелов учился в театральном институте, окончил два курса, но потом заглянул однажды в рок-клуб — и стало ух не играл, не пел — но слушатель был одареннейший. Группы в очередь выстраивались, чтобы Юрий послушал и под нигде не работал, где-то лежала трудовая книжка — как забытое сокровище из старой сказки. Но тогда, в конце вось было жить без денег — всегда находились друзья с бутылкой, музыкой, едой. Много ли ему надо... Быт везла Оксана А раз не жалутся — значит, всё в порядке.

Вот и сейчас они идут, а точнее, бегут по вечернему городу — потому что девочкам захотелось приключений, з Витечки таблетку циклодола. Впереди — целеустремленная пьяная Лена под руку с Витечкой, за ними — Маша с Горс Оксана в дряхлом пальто и сапогах (на левом разъехалась молния, и она сколота английской булавкой). Зачем же Горелов не понимает — но и прогонять не собирается, ему не до этого.

Лена кричит:

— Мне надо в туалет!

Слева — стройка, забор. Горелов подскакивает и рыцарски отдирает доску, потом другую — Лена проскальзы журчит.

Оксане холодно, особенно ногам. Туда, где разошлась молния, дует ветер.

Самый противный месяц — ноябрь. Снег то выпадет, то растает. Грязь под ногами чавкает, как майонез в салате.

Еще светло. Памятник облеплен голубями, как помойный мешок — мухами.

Маша объясняет про новый бар, который будто бы открылся за углом — но это, наверное, в ней говорил циклодол бара, и приключений не найти — скучный город, пора домой. И тут кто-то замечает вывеску — «Клуб». Лена тянет на с рукой — открыто!

Внутри — можно сказать, уютно. Меломаны подозрительно вслушиваются в музыку, которая негромко игр переглядываются.

— Мне это показалось? — спрашивает Витечка.

— Отнюдь! — отвечает Горелов.

Музыка в клубе отвечает их высокохудожественным вкусам. Лена с красными пятнами на щеках — то ли от м спиртного — проходит в зал. Там небольшая сцена, столики. Людей приятно мало.

— А почему мы раньше здесь не были? — обижается Лена.

Маша подходит к стене, на которой висит чеканка — «Алые паруса». Такая же точно — в квартире Оксаниной м поймать чеканку, а та вдруг берет — и уползает вверх по стене. Паруса раздуваются и лопаются с громким звуком — к Маша прыгает, пытается достать чеканку, но эта зараза ползает уже на уровне потолка, и наконец Горелов соображает, в чем дело.

— Витечка, держал бы ты свои колеса при себе, — критикует друга Горелов, бережно отстраняя Машу от стени бессмысленный взгляд на Витечку — и тут же вцепляется в его очки. Дело в том, что очки тоже решают убежать с лиц найти свои алые паруса... Дело в том, что одна таблетка циклодола для Маши — перебор.

Горелов отнимает у Маши очки и возвращает их Витечке.

Все они уже сидят за столиком, накрытым, к счастью для Оксаны, длинной скатертью. Под этой скатертью леи драных сапогах.

Маленькая Юля говорит вместо «драных» — «дранцы». Соединяет два значения в одном слове. Дранцы мати

маленькая Юля говорила вместо «драные» — «дрянные». Соединяла два значения в одном слове. дрянная мать спокойно сидеть за столиком, думает, как там дети. Миша так плакал...

— Я позвонить, — говорит она мужу, но ему это неинтересно. Оксана идет к гардеробу, там висит под кол металлический телефон с черной трубкой.

— У нас по жетонам, — любезно поясняет гардеробщик. — Желаете жетон?

Оксана желает, покупает. Потом звонит, ждет, пока Юля ответит — и за то время, которое тянут на себя четы представляет самые разные ужасы. Открыли дверь бандитам. Уронили на себя зеркало. Выпали из окна.

— Алло! — милый голос дочки.

— Юляша, у вас всё нормально?

— Нормально, — вздыхает Юляша. — Миша спит.

Вот что ненормально — это оставлять дома таких маленьких детей. Юле — шесть, Мише — четыре. У Оксаны — нет выбора.

— А можно еще посмотреть телевизор? — спрашивает дочь. — Тут передача с фокусником.

— Пять минут, — разрешает Оксана. — Я скоро приду, Юляша. Не волнуйся и дверь никому не открывай.

Дочка уже повесила трубку.

В зале тем временем заняты уже почти все столики. По сцене — как ладонь Горелова по Машиной спине — жадно и луч прожектора.

Как это они пропустили открытие такого клуба?

Витечка шепчется с Леной, Маша смотрит в пустую тарелку безумным взглядом. Горелов жуёт губы, размышляя. какую-то еду, но у них мало денег. А заказать всё равно что-то нужно — представление только для клиентов, с в официант.

Решили — водку.

Оксана садится рядом с мужем.

В этот самый момент выключается свет — а когда он загорается снова, на сцене стоит фокусник.

Это молодой мужчина в черном плаще, из-под которого видна голубая, как у милиционера, рубашка. На лице улыбка, как будто ребенок приклеивал. Прическа с длинными залысинами, похожими на рога. Не красавец, в общем, считает. Его диагноз — Ник Кейв.

Фокусник кланяется и трясёт руками, словно пытаюсь вызвать гром. Или хотя бы аплодисменты.

Горелов забывает о симпатичном сходстве с Кейвом и бьется в фальшивом восторге. Витечка свистит. Оксана ненавидит свою жизнь.

— Добрый вечер! — фокусник слишком близко поднес микрофон ко рту, и зрители морщатся от неприятного св вас буду выступать я, иллюзионист Геннадий Цыкин, и моя прекрасная ассистентка — Снежана!

Ассистентку опишем с красной строки.

Бывают такие женщины — недолепленные. Скульптор устал или умер, а им таким — жить. Плечи у Снежаны — и жилистые и шишковатые, а шея и грудь отсутствуют. Лицо — уральская деревня, рост — чуть выше семилетней! взгляд! Но — блестящий купальник! Но — волосы красные и торчат во все стороны!

— Пиаф? — засомневался Горелов.

Оксану поразило серьезное лицо ассистентки, да и вся она была собрана, как в кулак. Даже когда Лена с Витечкой слово «прекрасная» (Горелов, ликуя, колотил по столу) — даже тогда на ее некрасивом лице не мелькнуло ни тени растерянности.

Шоу тем временем началось. Геннадий Цыкин доставал из рукава цветные атласные ленты, связанные между собс помощью которых совершают побег из тюрьмы. Поднимал цилиндр, показывая, что он пуст изнутри, — а потом там горшке.

— Пряма как наперсточник, — зевнула Лена.

Маша возила по столу пепельницу так, что Горелов никак не мог попасть туда сигаретой.

Прекрасная Снежана вышагивала по сцене, купальник искрился и отвлекал внимание от Геннадия Цыкина, затеяв сложный фокус — возможно даже, гвоздь программы. Во всяком случае, музыку сменил барабанный треск — и ассии затейливой позе.

Вуаля! Только что фокусник держал на ладони игральную карту, разорванную на две половинки, — и вот она уже залу, целая и непоруганная. Туз пик.

— Мы здесь должны хлопать? — спросил Витечка. И тут же начал аплодировать, как на концерте, подняв руки перед лицом.

Горелов орал «браво». Лена хохотала. Маша уронила пепельницу, поднялось облако пепла.

Оксана поймала взгляд фокусника — так ловят волан в бадминтоне. Он был искренне счастлив, не чуял издевки. К плащ и прижимая ладонь к шее. Там пульсировала горячая кровь художника, который только что раскрыл людям свой дар.

Прекрасная Снежана была не столь наивна — ее лицо вдруг стало серым, как будто бы до него долетело пепельное облако.

Люди в клубе молчали, а их столик — бесновался. Каждый новый фокус Цыкина — как на беду, один нелепее дру Горелова и Витечки бешеный восторг. Можно было подумать, они приветствуют Гарри Гудини.

Глаза фокусника сверкали — его искусство дарит людям такую радость!

Оксана боялась поймать еще один взгляд этих сверкающих глаз, поэтому ломала зубочистки и выкладывала из н Ю Р И К. Пришел официант, смахнул «Юрика» в ладонь и принес счет. Шоу завершилось распилом прекрасной Снежан явилась публике в изначальном виде — и кланялась так, будто хотела достать руками до пола во время производственной гимнастики.

— Бис! — верещал Витечка. — Верните чародея!

Прекрасная Снежана обернулась и пронзила Витечку взглядом, как шпагой.

— Может, по домам? — робко предложила Оксана.

Горелов заёрзал:

— Давайте лучше так. Вы с Витечкой еще здесь посидите, а я девчонок уведу к нам. Лена пьяная, Маша под кайфо одни, ты про них забыла!

— Я помню, — сказала Оксана. Она прекрасно поняла, что задумал Горелов: уложит спать Лену и пристроится к Ма Главное, чтобы жены рядом не было. Странно, что Горелова всё еще смущали такие условности.

— Если бы я была индейцем, — сказала она, — я взяла бы себе имя Оксана Пятая Нога.

— Ты была бы не индейцем, а скво, — возразил Горелов. — Ну так что, посидите еще?

— Посидим, — сказал Витечка. — Статус скво!

Он помог другу вытащить полуживую Машу в гардероб. Лена шла сама, качаясь, как тонкая рябина из песни. Оксан одевает обеих девочек — застегивает пальто, подает шарфики. На бледную Машу даже беретку напялил. Она вид понимала, почему не бежит за ним следом, как сделала бы еще два часа назад, как, собственно, она два часа назад и сделала.

Витечка вернулся, зачем-то обошел столик по кругу, но потом всё же сел и вlepил очки себе в переносицу.

— давай, Оксанка, выпьем! Не оставлять же...

— Не хочу я пить, Витечка. Я домой хочу. Прямо сейчас.

Витечка неодобрительно кашлянул.

— Посиди еще минутку, и пойдем. Я давно хотел с тобой обсудить одну тему. Скажи, у тебя плохое зрение?

Оксана удивилась.

— Нормальное у меня зрение. Единица оба глаза.

— А почему же ты не видишь, что я в тебя влюблен? — глухим, как из подземелья, голосом спросил Витечка.

Лучше бы он вылил рюмку водки ей на голову. Что ей делать с этим признанием? Куда положить — на ту же попревание к Витечке и вечно сияющая, как сказочный меч, любовь к мужу?

— Ну что ты молчишь? — томился Витечка.

— Не знаю, что сказать. Я люблю Горелова. Я даже эротические сны вижу только с его участием.

То, что случилось сразу после этих слов, Оксана еще долгие годы переживала в кошмарных воспоминаниях специально вызывала из памяти это видение, чтобы заплакать, когда бывает нужно. Витечка бахнул кулаком по стол упал Оксане на ногу. Водка пролилась на колени и немного — в дырявый сапог.

Витечка кричал на нее так громко, как не умела даже Светка в минуты справедливого телефонного гнева. Да как этого козла, если он прямо сейчас трахает Лену или Машу в комнате, где за стеной спят малые детки? Да где ее чувство собственного достоинства? Да почему она не видит, что он, Витечка, приходит к ним в дом только из-за нее, Оксаны?

Оксана попыталась встать, но запнулась за длинную скатерть — и снова упала на стул. Люди за столиками были в спектакля. Какая-то дама с длинными серьгами в длинных ушах вся подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова.

— Ты говоришь точно как моя мама, — вымолвила наконец Оксана. — Давай я вас познакомлю — вы друг другу понравитесь.

— Дура, — коротко сказал Витечка. Еще раз припечатал очки к переносице и ушел, подхватив пакет, которого С заметила раньше. Из пакета падали на пол трикотажные шапки — как хлебные крошки Мальчика-с-пальчика.

Оксана взяла из вазочки новую зубочистку и разломала ее.

— Можно?

К ней за стол, не дожидаясь ответа, сел фокусник Геннадий Цыкин. Он был в штатском, выглядел моложе и глупее, чем издавна.

— Я хотел сказать вам спасибо, — признался Цыкин. — Меня никогда так не принимали, как сегодня. Наверное, в да?

— Очень люблю, — сказала Оксана.

— Вы согрели мое сердце, — улыбнулся фокусник. — В наше время никто не ценит искусство. А где ваши дру: поблагодарил...

Оксана была благодарна прекрасной Снежане, которая внезапно выросла за спиной у фокусника и потянула его з: не смотрела — возможно, в отличие от Цыкина, ей удалось захватить фрагмент выступления Витечки. Снежана была потертой вышивкой, песцовая шапка выглядела на ней оскорблением.

Цыкин долго прощался, ему не хотелось расставаться с поклонницей истинной магии.

— Я исполню одно ваше желание! — крикнул он перед тем как уйти. — Загадывайте, обязательно сбудется!

Оксана шла домой и мечтала — пусть дома будут только дети и муж. Чтобы ни Маши, ни Лены, ни Витечки, ни коридоре, ни посторонних запахов в ванной, ни лишних чувств, ни сомнений, ни-че-го.

Небо сверкало звездами, как мамин шарфик из люрекса. «Плещутся звезды», — пела Оксана, чтобы согреться и скорее дойти до дома.

Открыла дверь ключом — и тут же споткнулась взглядом о две пары высоких женских сапог и разбитые, как у ст боты.

Может, если она решится уйти из дома, забрать детей к маме, вернуться в институт, то у нее всё получится?

Или вот еще вариант: ворваться сейчас в ту закрытую комнату, перебудить по дороге малышей и Витечку, слад включенным теликом, и отхлестать этих девок их же длинными сапогами?

В общем, у Оксаны было не так уж много желаний.

Она поцеловала спящих малышей (Миша даже во сне выглядел обиженным), легла с ними на диване третьей и уснула.

Во сне Оксана твердо дала себе обещание начать новую жизнь, что бы это ни значило.

Утром она тихо собрала Юлю с Мишей и увела их в детский сад, потом отработала смену, забрала детей и вечером с столом, слушая, как Горелов спрашивает у всех сразу: все-таки кому из них первому пришла в голову идея зайти сказать, клуб?

Никто не смог вспомнить.

Екатеринбург

«Рано или поздно в Париже вы наверняка столкнетесь со мной».

Андре Бретон

Города и люди

Города — как люди, и с кем-то просто не складывается. Неважно, кто виноват — ты или город. В Вене пролился горячий глинтвейн — обжег коленку, и на руку тоже попало, огнем по вене. Киев — место, где сумело остановиться время, но это не в плюс так серо и грустно, будто это Москва. Как можно уехать в Москву по своей воле? Сюда должны ссылать, будто на Наказан и казнен — Москвой. В Санкт-Петербурге лучше, но он сырой, болотный, и под обоями в квартирах — нег живучий туберкулез. Палочки Коха.

А вот когда Олень рассказывала про свою Вену, она у нее была теплая и круглая, как добрая бабушка. А Варшава вкусно звучало коварное киевское слово «кавярнобожаситер и всё еще, несмотря на преклонные сорок, мечтает Москве.

Прозвище сама заработала: в первом классе подписывала рисунок для выставки — «Оленька», но буквы были думестился на листке только «Олень». Дальнейшее — заслуга одноклассников. Хорошее прозвище, кстати. Аду дразни Обидно иметь такую румяную, жирную кличку — особенно если мечтаешь стать бледной и длинноногой. Матрена учительнице литературы:

— Образ Матрены Тимофеевны! Морозова, к доске!

— Ты заметила, — спрашивала Олень, — что Ремарк подчеркивает в своих героинях широкие плечи и тонкие колени?

Десятый класс — самое время читать Ремарка и внимательно разглядывать друг друга, а потом, особо пристальн под музыку. Какие у меня ноги, волосы, губы. Какая же я? И зачем — я?

«Казанова, Казанова, — визжал магнитофон, — зови меня так!»

«Назову тебя Гантенбайн, — мстительно думала Ада. — Или вообще — Измаил». И снова в зеркало, как в книгу: «Пл точно. Но я совсем не уверена в том, что у меня — узкие колени».

Одноклассник, дымящийся от тестостерона, который, впрочем, в широких массах тогда еще идентифицирован и книжку. Автор Хулио Кортасар.

— Галина Пална! А чё Морозова читает матерные книги!

Галина Павловна по кличке Галка-Палка — это у нее на физике однажды выпал зуб из рта, когда она вопи Первопричину ора не вспомнить, а вот зуб всё так и летит через память у каждого. Сейчас нахмурилась, предвкусная:

— Дай книжку, Морозова.

Олень с мелком у доски смотрит испуганно, правда что Бемби.

Галка-Палка схватила Кортасара, листает возмущенными пальцами.

— Заберешь у директора, с родителями. Как тебе только не стыдно? На обложке такое слово, а ты читаешь!

— Это имя писателя, Галина Пална!

Чеканкой:

— У писателя не может быть такого имени!

Директор школы маленький и лысый, смотреть на него неприятно. Почему-то Ада представляла себе, как он лезе застревает.

— Родители придут?

— Мама в Китае. А папа очень занят.

— Ясно. И что натворила гражданочка Морозова?

Он всех учениц зовет гражданочками. Тревожная привычка.

Петровна торжественно кладет Кортасара на стол — как торт. Шепчет в ухо директору. У нее сильный запах и доносится до первых парт. А тут — прямой наводкой. Директор морщится.

— Галина Павловна, тут написано, что это известный латиноамериканский автор. И чем вам не нравится его имя?

Галка-Палка краснеет: по лицу, как по рассветному небу, проносятся алые облака.

— Больше не читай на уроках, Анна, поняла меня?

«С чего я взяла, что он неприятный? Директор как директор. Еще бы имя мое запомнил, но я, наверное, слишком много хочу».

Галка-Палка возвращает оправданного Кортасара и дневник — исписанная красными чернилами страница выгнали залили кровью.

Верная Олень ждет на лавочке, у гардероба.

До выпускного — полгода. Они в тюрьме, а потом темницы рухнут, и — свобода! Весь мир на блюде с голубой каймой.

Родной город Свердловск Ада тоже не любит. Она здесь ненадолго. Вот увидите.

Каждый может

Улица Генеральская, темно.

Ада подняла руку, будто подзывала официанта. Или передразнивала памятник.

Машины проносятся мимо, никому в этом городе не нужны деньги. Ада мерзла, широкое пальто-свингер — краси Мама невзлюбила его вполне заслуженно. Отказывалась покупать, но куда бы делась. Мамы не было дома целый у Китая им пришлось привыкать друг к другу заново.

— Как ты плохо одета! — первое, что сказала мама, когда увидела Аду на перроне. Сама-то в вареных джинсах, в с — Ада сразу решила: выпросит. И джинсы, и мокасинчики — как маленькая разбойница у Герды.

Улица Восточная, мост. По мосту несется поезд, нужно загадать желание. Всегда готова!

Свингер на ветру, как алый парус.

Желание единственное — с детства.

Париж!

Сейчас каждый может.

По возвращении показываешь фотографии — но даже самые вежливые смотрят их с лицом «чего тут невидел». | домой, — и вперед, по улицам и набережным. Это всего лишь Париж, не Чили. Пять часов в самом центре — запах в вагоне — скорее что неприятный. Эйфелева башня — растопыренные ноги, каждая опирается на свою часть света. знания по головам — как соленья в банки. Раньше башню называли пустым подсвечником, ободраным зонтом и ч легко проскальзывают в память — как честная водка в желудок. Наполеон лежит в шести гробах, и два из них — сви вдумчивый; поведения самого правильного; всегда отличался в математике; обладает прекрасным знанием ист недостаточного общителен; станет отличным моряком».

Пройдем по Лувру хитрым маршрутом — чтобы не встретить на пути Нику, Джоконду и Венеру Безрукую. Это гид маршрут, и про Безрукую. Туристы вываливаются из дворца в сад Тюильри — как леденцы из пакета. В саду голь холодный, даже смотреть на них зябко. Торчат из кустов, как ограбленные — белые-дебелые, ни дать ни взять М шестого подъезда, но, конечно, без платья.

Обратите внимание — прямо по курсу памятник Жанне д'Арк, на этом месте она держала оборону Парижа. Сейча ноги-то, гляньте, тянет, как цирковая. Этот памятник похож на шахматную фигуру — конь, а может, и пешка, дошага всё так же швыряет цитаты, но из десятка лишь одна прилетает по адресу. Что-то про величественный свет на Вандо когда пала колонна. И в этот самый момент, когда все устали и даже Париж не нужен — а только бы рухнуть на к Вандомской колонне), — в этот самый момент шумный мальчик, какие есть в каждой группе, взялся руками за столб Упал столбик на Вандомской площади! Не та большая зеленая колонна, которую свалили в позапрошлом веке художника Курбе. Один из многих парижских столбиков — защитник пешеходов, борец с парковкой, рядовой состав куда бежать, гид роняет цитату — и она закатывается куда-то, как мелкая монета, а какой-то подвыпивший меся мальчика думает, что всё, наверное, опять обойдется. Всего через неделю в Москве будет рассказывать: наш П отличился, ну что, взял и сломал колонну. Да не ту! А на другой день, добавляет мама, перекрикивая общий смех, уже опять был на месте. На боевом посту!

Париж... Сейчас каждый может. Но не тогда, в девяностых.

На улице Бажова остановились два парня на мопедах. Мопеды без номеров, сами — без тормозов. Олень ни за что она девица осторожная. Ада села позади одного парня, обняла, чтобы не упасть, и через десять минут — дома. Деньг не взял, поэтому Ада поцеловала его в щеку, и он, в целом довольный, уехал. Перебудив полдвора.

Он существует

Дома легче верить, что Париж существует.

Ада боялась разбудить маму с папой. Шла к себе на цыпочках, заметила, что так и не сняла пальто, и от ее тихого папа. Сейчас он выйдет в «гостиную» — псевдоним проходной комнаты — и будет хмуро приноживаться. Это даже м родителей никакого — Ада с Оленью выпивают бутылку вина каждый вечер. Хотя раз бы заметили.

Дверь открывается, Ада стоит на месте, как пойманное привидение. Пальто кусается шерстяным воротником. Пап мимо дочери, а потом закрывает дверь. Слава богу!

Ада снимает постылый свингер, стаскивает с себя платье и колготки — блестят как мокрые, такая мода. Лежат лунном свете.

Сама не поняла, зачем было ходить в эти скучные гости на Генеральскую. Вначале все были такие умные, что Ада б молвить — вдруг брякнет по малолетству какую-нибудь глупость? А потом все стали такие пьяные, что она решила уи поздорову. Тем более какой-то тип в очках позволил себе насмешку над ее платьем, Ада ответила довольно жалко: «П платье привезла из Алжира мамина институтская коллега — они одновременно уехали: мама — в Китай, тетя Зина — в Алжир.

Аду никто не провожал, только старый хозяйский кот разворчался, когда она вытаскивала из-под него свингер. | налипшей на рукав, разберется потом. А сейчас — совсем ничего не хочет, только спать и смотреть сон про Париж.

Мальчики ей, конечно, тоже снятся, но по собственному почину — специально их в сон не приглашают. Париж спит Ада мечтает о нем каждый вечер, как бы ни устала. Однажды привиделось, что его привезли в Екатеринбург — вес кладбищами, утонченными и уточненными парижанками, с бульварами, мостами и статуями, которые пугливо выгля Деловитые люди с лицами серьезными, какие бывают только у фотографов, расставляли Париж по Екатеринбург пытались приткнуть Триумфальную арку, перед Оперным театром водружали Июльскую колонну, и, как изюм в тест бросали по улицам парижанок. Свердлов стал смешным родеовским Бальзаком, Кирова заменил маршал Ней, а площади 1905 года машет руками Дантон. Удивительный был сон, после таких не хочется обратно, в свою жизнь и свои что кому хочется — как говорит мама: а кто тебе сказал, что человек должен быть счастливым?

Любимые слова мамы — «Ни в коем случае».

Папы — «Будь женщиной, доченька».

Ада спит и видит Париж, спит — и видит, когда она уже, наконец, уедет отсюда. Первые шаги сделаны — посту германское отделение, конкурс был почти как в Москве. Учат французский и всё, что около. Лучшим студентам с третьем курсе, и Ада сразу решила — останется. Но до третьего курса еще так далеко!

Как от Екатеринбурга — до Парижа.

Олень считает, любить Париж — банально. Лучше бы что-то английское, туманно-томное. У англичан не принять молчат, как связанные. И продавцы не шутят над покупательницей — а то тут на днях один, из супермаркета, увиде конфеты и показал себе на живот с обидным и выпуклым преувеличением. Будто Олень набрала этих конфет для с магазина, тут же слопает их все сразу (на самом деле опустошила всего одну коробочку — и то, чтобы успокоит покупался для родственников — подарки из Парижа). Но это будет потом, спустя много лет. Пока Олень даже предст что станет когда-то сердиться на парижского продавца — они пока что обсуждают мечты, и Адкина заклеимена с плечо миледи — цветом лилии.

Париж Ады, как у многих русских, вырос из груды книг. Вместо домов — тома Дюма, Гюго, Флобера, Золя, Мопасса Гюисманса и Монтерлана. У Бодлера — целая улица, у Рембо — аллея, у Верлена — площадь. Еще и Хемингуэй, и лю Кортасар. И Маяковский. И Волошин — «...Парижа я люблю осенний строгий плен и пятна ржавые сбежавшей позолот «В большом и радостном Париже».

Аде — восемнадцать, недавно она сдала первую в жизни сессию. Прилично сдала и легко — как пустую стеклотару приемным пунктом.

Город из книг однажды станет живым городом — но эти «однажды», «когда-нибудь» и «обязательно» уже совсем не утешают.

Хочется, чтобы по-настоящему.

О, Пари!

Олень училась этажом выше, на журфаке. Ада этому обстоятельству сочувствовала, но и слегка презирала догадывалась, презрение было тихим, как шепот в грозу. После занятий они встречались на лестнице, под бюстом Гюго, курили, пили кислое вино в кафе «Ветерок» на Плотинке.

Обсуждали: мальчиков, книжки, которые надо читать по программе, и книжки, которые хочется прочитать просто одной знакомой группы, неудачный стиль одежды девушки по имени Эль-Маша (криминальное злоупотребление журналом «Бурда Моден» кофтами) и Париж.

Любимое слово Олени — «обсуждать». Сейчас она ведет в интернете телепрограмму, где всё обсуждается в подробностях. Ада ждет выпусков этой программы так, как в детстве ждала показа фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — вязаная кофта гасконца (прямо как у Эль-Маши) и утомительное количество песен. Чуть что, сразу три куплета смотрела и вечерний показ, и утренний повтор — ценность фильма была столь велика, что он отбрасывал сияние передачи. Ада усаживалась перед телевизором за два часа до начала — и радость закипала в ней с каждой минутой, как вода в кастрюльке.

Был еще и французский фильм — комедия «Четыре мушкетера», его крутили в киноконцертном театре «Космос». Ей меньше. Всё неправильно было в этом фильме: и название, и то, что главные герои — слуги, а не их хозяева. Зато там Франция, а не Львов с Одессой.

Ада выцарапывала Париж отовсюду, по капельке собирала — даже из журнала «Крокодил», который любила бабушка. Развороте — анекдоты из зарубежной печати, с иллюстрациями. Неважно, о чем, смешные или нет — важно, что источник, «Пари Матч». Закроешь глаза — остальное можно додумать.

Париж ручной сборки. Хенд-мейд.

Французский язык для Ады — как дрель для слесаря. Инструмент! Никакой особенной любви, ей всегда был немецкий — система, где всё понятно и хорошо работает, а французский — музыка, ее нужно слушать, а не раз аккордам. Но раз дрель, значит — учить. Париж стоит мессы.

Под утро Аде снится одноклассник Дима — хотя в жизни они просто друзья. Недавно Дима сам сделал в домашней «Адвокат» и позвал их с Оленью в гости. Пришли, но к Диминой маме некстати появились родственники — и он вынес Там и пили. Вкусный ликер, сгущенка с водкой.

Такими были все дни, одинаково счастливые и разнообразно несчастные. Мама в соседней комнате вешала люстры даже не слышала из-за своей музыки. К началу второго курса уже никто не визжал про Казанову — в ход пошли пластинки, Дима привез с Шувакишского рынка — «тучи». Никому не нужны, но Аде — самое то. Спасибо, Дима! Тебя хотя бы здесь написать тебе спасибо за всё — и за «Адвокат», и за эту «тучу», куда ты взял Аду лишь раз, и вас тут безбилетный проезд и гнали через всю электричку, как отару овец. И еще за то, что выкрал у отца ключи от машины и по городу, а влюблен был между тем совсем в другую девочку.

Олень в тот год выяснила, в чем состоит главное достоинство журналистики. Оказывается, слово «интервью» от даже лучше, чем ногой. Все до единого, кем бы ни были, как бы высоко ни вскарабкались, тут же откликнулись — а потом так долго и подробно, что Олень едва не засыпала над диктофоном. Однажды выключила, попрощалась вежливо крикнув: «Я еще кое-что вспомнил! Включай!» О себе все любят, это Олень вычитала вначале в библии переходных Карнеги, а потом подтвердила с помощью полевых испытаний. Да, интервью давали все — но далеко не все интересно сделает впоследствии с добытой записью. Она была ленива, как часто бывают ленивы крупные добрые девушки — то или борщ, то пожалуйста. А вот расшифровывать чужие слова и мысли лучше в другой раз, или пусть кто-нибудь. Частенько Олень писала поверх одного интервью другое — мысли терялись, наслаивались одна на другую, но кое-что превращать в статьи — их потом печатали в газетах, присылали гонорары. Хотя главным были не гонорары — главы дверь. Благодаря интервью появлялись возможности, шансы, новые люди — протяни руку и выбирай. Олень легко и же легко забывала имена, лица, голоса на пленке — такие недолговечные...

Голосам на Адидных пластинках повезло больше. Она слушала их по кругу (и на «круге» — старом папином вертале) Пиаф — слушаешь и чувствуешь себя так, словно лизнула батарейку. Мистингетт дерзко не то пела, не то выкрикивала девчонка, *gosse de Paris*. (Что скажешь — повезло.) У Мирей Матьё на фото — несомненно, деревянная прическа. Ада научил всех — Паташу, Марка и Андре, Жюльет Греко, Люсьен Делиль. И, конечно, Адамо, Мориса Шевалье, Ива Монтана... Ей годы утопал в белых розах ласковых мальчиков, но Ада даже не знала точно, как эти мальчики называются. Ей всё равно, — главное, чтобы про Париж. «О, Пари!» Хотите пари, что уеду в Пари?

Впрочем, певицу Мари Лафоре Ада полюбила за другое — под мелодию из советского «Прогноза погоды» она о жаловалась на несчастную любовь. Верилось после первого куплета. Манчестер э Ливерпуль... Мари Лафоре волн зимы белые корабли, а Ада волновалась, дождется ли ее Париж, и как примет? Объятьями или проклятьями?

Всё получилось быстрее, чем она думала. Вообще, если оглянуться и вспомнить, всё и всегда получается быстрее.

Но прежде Парижа была поездка на улицу Дружининскую.

На улице Дружининской

Олень в очередной раз с кем-то познакомилась. Два мальчика, на вид — совершенно бестолковые. Мальчики Аду не интересовали, а ее несчастная любовь, о которой знает одна только Мари Лафоре, — о, это был взрослый мужчина. седой. Он честно признался, что любит взрослых женщин, но при этом побывал однажды у Ады в гостях — еще в десятом классе. Схватил учебник по алгебре, жадно перелистывал. Что там интересного, в алгебре?

— Не верится, что я уже так стар, — сказала несчастная любовь и ушла, бросив учебник в угол так, что книжка встала на ноги. Ада хотела покончить с собой, но передумала — впереди были экзамены, а покончить с собой никогда не по любви она встретила буквально через день на концерте одной знакомой группы — там он не столько слушал музыку, высокой и безусловно взрослой женщиной в очках, похожей на карикатурную секретаршу.

Отныне Ада решила, что будет любить один только Париж. А те мальчики — это всё Олень придумала.

Одного звали Алеша, второго — Сережа. В те годы так звали почти всех мальчиков, за редкими исключениями в Антона или Игоря. Сережа не имел шансов на продолжение знакомства — Олени он приходился ровно до того местечка бретельки лифчика, Аду же, как было сказано, вообще не интересовали люди такого возраста, не то что роста. А большеглазый теленок, к тому же высокий. Олень ему приходилась макушкой до того места, где у него могла бы быть бретелька лифчика, но, разумеется, ничего такого у него там не начиналось. Не те времена.

И вот Олень начала бомбить Алву просьбами: ну давай съездим в гости к Алеше. Он приглашал! Ала отговорила — съез-

Олень еле еле на тала селенку, даду, прореванну, даван, ездит в тосты к теще, от при нахаша да струени. — Оооо, опасалась одна. Теленок он, конечно, теленок, но она была девушка всесторонне осторожная. Поэтому продолжал: какие-то истории, когда она выручала Адку, а теперь ее черед — и вообще, нечего сидеть целыми днями одной и плесень.

Чтобы она отстала, Ада согласилась. На «плесень» решила не обижаться, припомнить до удобного случая.

Поехали.

Алеша записал адрес на листочке, но не объяснил, как добираться, а телефона у мальчика не было. Улица Дружини квартира такая же. Решили поймать тачку. Олень вдруг вспомнила, что, если таксисту показать козу из пальцев, он обочине просят продать им водку. Долго смеялись, потом ловили тачку — но не «козой», просто махали рукой, как д трапе.

Адин папа строго-настрого запретил дочери ездить на тачке, но папы тут не было. Поэтому поймали частника.

— Дружинина! — сказала Олень.

Водитель напрягся.

— Дружинино? Это же далеко!

— Ну да, — сказала Ада, — там живут люди с песьими головами.

Она если не умничала каждый час, это было потерянное время.

Водитель согласился на пять рублей. Сидели на заднем сиденье, хихикали.

Ехали через весь город, читали слова на домах: «Партии Ленина слава!» Потом за окнами понесся лес — деревья гнались наперегонки с машиной. Олень заподозрила неладное.

— Минуточку, — так она обычно начинала всякий неприятный разговор, — там, куда мы едем, должны быть дома!

— Ну вот доедем, и будут вам дома.

— А куда вы нас везете?

— В поселок Дружинино. До него километров семьдесят.

— Ой, вы что! — Олень так кругло выкрикнула эти слова, как будто сама превратилась в букву О.

Ада превратилась в букву А. Эйфелева башня или ракета на старте.

— А-а-а-а! — закричала Ада. — Нам нужна другая Дружинина. На Сортировке!

Водитель тоже превратился в буквы — много гласных, много согласных, много шипящих и целый лес восклицаний, и перечислений, и повелительных наклонений. Ну что за дуры, прости господи! Как можно перепутать пос Дружининской улицей? И что теперь делать? Толстая пассажирка плачет, у чернявенькой губа трясется, как у дочи водителя — такая же дура. Двадцать лет — ума нет. Тоже, поди, ездит куда ни попадя, пока он решает в голове задачу про бензин и хлеб.

Развернулся и молча — на Сортировку. Когда ехали по Бебеля, уже совсем успокоился, даже пошутил, но девч Боялись. На Дружининской сунули ему пятерку, толстая добавила еще рубль.

А похолодало как, надо же. Август, город в дымке — как будто ему отключают небесное тепло. И рябина уже гроздью по стеклу машины — точно кулаком заехала.

Ада и Олень поднимались в Алешину квартиру и хохотали навзрыд, так что им самим было непонятно — они что смеются или все-таки плачут?

Алеша открыл дверь сразу, будто сидел с той стороны на коврик, как голодный кот. Сережа тоже был, но его поэтому он вскоре исчез. Совсем неинтересный мальчик, даже удивительно, что стал впоследствии знаменитым х удивительнее — долгие годы прошли, но тот унижительный вечер Сережа так и носит с собой каждый день, как б блокнотик.

— Папа, я хочу твоего блокнотика, — лепечет младший сын. Да, годы прошли, есть младший сын и старший сын славой и задущен успехом, но унижительный вечер юности, когда девочки смотрели сквозь него, этот вечер с ним нав гусь с водой. Его графика, выставки, награды, книги — все родом из того вечера... Девочка с адским именем и невид она, эта Ада?

Когда Сережа убежал из квартиры, бахнув дверью, Алеша развлекал гостей и был такой еще мальчик, господи, сплошную вызывал и сочувствие, а не то, что мечтал бы вызвать.

Накрыл стол: скатерть, салфетки, сервелат колесиками, сыр пластинками. Вино в бутылке и еще две газировки «Кс наверное, себе взял», — оглушительно шепнула Олень. Сам Алеша — в рубашке, застегнутой чуть ли не до кады стрелками, и в домашних тапках, как у Адиного папы. В ту пору вообще почти всё было как у кого-то. Застраховаться разве что бандиты-небожители.

Алеша не знал, о чем говорить с девочками, а Сережа, который знал, но не имел шансов это доказать, к тому в дверью. Олень и Ада сидели на диване, блестя колготками и вздыхали, как Портос во втором романе. Олень была колбасу с тарелки — укатывала по колесику. Хотя какое-то занятие.

Уйти сразу — жаль мальчика. Он старался — стол, колбаса, папины тапки, такие трогательно знакомые. И как от родной Посадской? Можно стрельнуть денег у Алешы, но не сразу же, как приехали.

Олень покончила с колбасой и принялась за сыр.

Ада спросила — из вежливости и от скуки:

— Ты где учишься-то?

Алеша тут же вспыхнул — как газовый костер под чайником, который по-хозяйски зажгла Олень. Горелые спич формочку для кекса. Оказалось, мальчик учится в архитектурном, мечтает стать дизайнером.

— Это модно, — признала Ада.

Олень доела сыр. Видно было, что хочет еще, но Алеша вместо сыра притащил папку с рисунками и долго не мог — детский сад, честное слово.

Каждой маме мальчика однажды приходится вспомнить такую картинку из юности. Смеялась над юношей? Пол расплату — страх за своего сына, чтобы его не обидела какая-нибудь бессердечная ~~дворянка~~ ~~квартон~~ ~~девок~~, не для ни мыростимыновой, спасибо, бабуля, что добавила от себя пару слов. Но это мы опять бежим где-то впереди — тогда было, что Ада или Олень однажды станет мамой. И не было мысли, что одна из них так никогда ею и не станет.

Развязал шнурочки, аллилуйя! Вытаскивает какие-то рисунки. Диагноз: летальный исход наступил вследствие 22:35. Однако! Засиделись они. Олень с трудом фокусирует взгляд на рисунках — мыслями она в холодильнике, обнадеживающе пузатом.

Алеша, как всякий мужчина — пусть и начинающий, — не чувствует девичьей скуки, пытается их рисунками — и надежде, что каждый из них в папке последний. Но всякий раз оказывается, что за ним — еще несколько. И к объяснения. Какой болтливый этот Алеша!

Ада меняет тему — как семафор, хотя все уже видели поезд. Опасное дело!

— А откуда у тебя своя квартира?

— А откуда у тебя своя квартира?

Алеша застывает с таким лицом, будто его заело на букве «у». Вообще у него симпатичное лицо, но верхняя губа и рот всегда полукруглы. Олень считает, это мило.

— Мне родители подарили. Они работают в бюро молодежного туризма.

Олень по пояс ушла в холодильник — там была миска с оливье, тушеное мясо с картошечкой, даже компот из ирги — бабушка еще привезет. Он просто постеснялся предложить.

Ада переспрашивает про бюро. То самое, на Пушкина? Сколько раз она туда заходила, спрашивала путевки — выражаясь приличным языком, удивленно.

— А так не делается, — сказал Алеша. Он расстегнул наконец верхнюю пуговицу на своей рубашке. И папочку от досады. Ада взяла папку, подровняла рисунки, восхищенным взглядом согрела верхний и завязала шнурочки бантом — вуаля!

— Так не делается, надо просто подойти к моему папе, и он поможет. Тебе куда нужно?

— Мне? — смешной вопрос. — В Париж.

— Я бы посоветовал Италию, — сказал Алеша.

Почему Ада решила, что он похож на теленка? Вполне приятная внешность у мальчика, общительный такой.

— Компот очень вкусный, — заявила Олень. — А вообще от ирги губы чернеют, вы знали?

Стоять повыше

Ада пришла в турбюро на рассвете, хотя ей было назначено в девять, «подойти в восемнадцатый кабинет, к Клавдии Трофимовне». Имя ничего хорошего не предвещало, а зря. Когда Ада сжилась со своим местом на лавочке у главного входа и пообщалась с симпатичным бомжом, похожим на дворника, а потом — с прекрасным дворником, ничем не напоминавшим бомжа, стрелки на Адных часах наконец-то встали под прямым углом. Женщина в светлом плаще, который при известной недоброжелательности мог быть засчитан медицинским халатом, по-хозяйски зазвенела ключами, и Ада сразу поняла, что это — Клавдия Трофимовна, и окликнула ее. Та вначале нахмурилась, но, когда услышала фамилию Алешиного папы, — просияла. Так сияет солнце в древесной листве где-нибудь в Венсеннском лесу или в Харитоновском парке. Глаза у Клавдии Трофимовны очень подходили к ее профессии — они были похожи на маленькие голубые глобусы с коричневыми пятнами материков. Ада сразу поняла, что человек с такими глазами сделает для нее всё, что может. Клавдия Трофимовна велела срочно подавать документы на заграничный паспорт.

— К октябрю успеем, — сказала она, как будто Ада куда-то опаздывала. То есть она, конечно, опаздывала — иногда казалось, что целую жизнь, но вот так сразу, в октябре? Ей ведь нужно будет остаться в Париже, попросить убежища или уйти к клошарам, детали еще не обдумала. Клошары — конечно, вариант, но Ада не была уверена в том, что сможет приспособиться к ночевкам под мостом и рваном одежде. Папа часто напоминал ей, как в детстве она собиралась «всю жизнь прожить пинчессой».

Вышла из восемнадцатого кабинета, в голове — туман, как утром по дороге на Химмаш. Туман помнит, что прежде здесь были болоты и возвращается на прежнее место, как убийца или кочевник. Может, есть какое-то сугубо научное объяснение этого явления, но Аду интересовало еще меньше, чем ненаучное. Намного более важный вопрос — где взять денег на поездку? Клавдия Трофимовна объяснила, что автобусный тур Москва — Париж, с остановками в Киеве, Варшаве и Вене, будет стоить дешево (но при этом всё равно дорого для студентки-второкурсницы).

Интересно, сколько людей вокруг нее думают сейчас о том же самом — где раздобыть денег?

«Да все, наверное», — решила Ада. На лестнице Главпочтамта стояли несколько человек, и Ада вдруг вспомнила историю, которую ей рассказывала мама. В юности она ждала на этой лестнице папу, он где-то задержался, а день был морозный, зимний. И вот стоит она ступеньках, приплясывает, чтобы согреться, как вдруг какой-то прохожий тип ей заявляет:

— Вы, девушка, могли бы стоять повыше.

Мама не поняла, о чем он, и как раз в этот момент явился папа, а прохожий тут же исчез. Потом маме кто-то объяснил, что на лестнице Главпочтамта снимали проституток, и чем выше стояла девушка, тем больше она стоила. То есть тот прохожий отвесил маме пустые комплименты, но всё же комплимент! Еще три года назад мама рассказывала об этом с возмущением, но сейчас в ее рассказе звучит скрытая гордость. Отныне профессия пуганы окутана героическим флером, и вся ее подлая сущность надежно скрыта. Девяностые: девочки-пуганы, мальчики — в бандиты, родители — в петлю. Однокурсница Олени, та самая Эль-Маша (жительница микрорайона Эльмаш, в честь которого и получила свое прозвище), однажды поехала за компанию с подружкой «на вызов». Возможно, Эль-Маше просто хотел примерить на себя эту роль, хотя лучше бы она примерила что-нибудь приличное в коммерческом магазине. Рассказывала Эль-Маша об этой поездке вдохновенно — Ада считала, врет. У Эль-Маши был прыщ на подбородке — вечный, как огонь или студент, в зависимости от того, какой пример покажется здесь более уместным. И с этим пламенеющим прыщом, в длинной клетчатой юбке, в вязаной кофте с деревянными палочками вместо пуговиц — в проститутки?

И вообще, с какой стати Ада так долго думает о проститутках? Почтамт давно скрылся из виду, Ада дошла до Оперного, который любил с детства — он был как сказочный замок, в котором вполне мог жить какой-нибудь французский граф.

У театра тогда стояли скамейки, но их нужно было успеть занять. Бывает, идешь к пустой скамейке быстрым шагом, как вдруг тебе невежливо обгоняют и плюхаются.

Они договорились здесь встретиться с Оленью. Может, еще успеют ко второй паре? Олень, верный друг, сидит на скамейке и таинственно поглядывает по сторонам, что сразу ясно — никого не пустит даже на краешек. С одной стороны — сумка, с другой — пакет, а сама Олень — девушка корпулентная. Сильно поправилась в последнее время, но Ада ей об этом, конечно, не скажет. Только если Олень сама спросит.

— Адка! Ну что, едешь во Францию?

В те годы было не принято уточнять — «в Париж», «в Лондон», «в Милан». Называли всю страну — уважительно. Как будто по имени-отчеству.

Вот и еще одно хорошее качество Олени — она не завидовала Аде. То есть, конечно, завидовала, но лишь по пустякам, самым преглупым, вроде умения свистеть. Это Аду папа научил, еще в детстве, у них был такой семейный свист, которым они друг друга подзывали в толпе. Как птички! — завидовала Олень.

А ведь она тоже могла поехать за границу, попросить у Алеши помощи. Но тогда, на Дружининской, было совершенно ясно, что это предложение только на одну персону.

— Поеду, если деньги найду, — сказала Ада.

Олень задумалась. Когда она о чем-то размышляла, ей нужно было касаться Ады — она и так-то без конца ее оглаживала, снимая ниточки с пальто... Спасибо, хоть пуговицы не крутила.

Наконец решилась:

— Я могу тебя познакомить с одним человеком, но он, кажется, из этих.

Ада расстроилась. Нет ничего хуже, когда подруга укрывает от тебя какого-то человека, да еще из этих. Она так расстроилась, что отвернулась к оперному театру и начала подсчитывать колонны рядом с фигурами и вазонами, похожие на погребальные урны, какими и себя представляла.

— Да я с ним только вчера познакомилась! Не успела рассказать.

По семь колонн — с каждой стороны, вазонов больше, но если только вчера познакомилась, тогда ладно.

Олень закинула ногу на ногу, и старичок, который шел мимо, резко встал на месте, будто услышал команду. Бедра Олени — в ямочках нежные.

— Что-то часто ко мне в последнее время старики пристают, — расстроилась Олень.

— Проходите, не задерживайтесь! — крикнула Ада.

Старичок исчез, но настроение у Олени было испорчено. Она еще долго капризничала, прежде чем рассказать наконец свою историю.

О, эти вчерашние истории! Всегда становятся лучше с каждым часом.

Началось с того, что Олень была вынуждена пойти вчера на концерт с Эль-Машей.

Ада нахмурилась. Кромешная Ада!

Олень тем временем поменяла ноги с липким звуком, и очередной старец лет пятидесяти, если не больше, застыл, как турист перед «Джокондой». Почти минуту простоял.

— С Эль-Машей! — кипятилась Ада. — Как можно, так упасть?

— У нее были проходки на концерт, а у тебя — мамин день рождения. Ну ладно тебе, Адка, не такая она и плохая. О тебе говорят только в превосходных степенях.

— Правда?

— А когда я тебе врал? — Олень припустила скороговоркой: — Концерт был так себе, мы ушли еще до «Чайфов». Эль-Маша уехала домой, а я хотела дойти пешком из «Молодежки». Где-то рядом с кладбищем вдруг останавливается машина. Иномарка. Цвет — «снежный королев».

Уму непостижимо, как удерживались у Олени в голове все эти цвета машин, тем более в темноте.

— Открывается дверь, — продолжался рассказ, — а там сидит такая ряхла! Голова размером с телевизор, и зубы сверкают, Адка, я испугалась! А он мне говорит: «Не бойтесь, девушка, я вашу красоту довезу куда нужно». А я такая: «Спасибо, я живу вон там» — и показала на те дома, на Репина. Он такой: «В бараке, что ли?» А они едут медленно, вровень с моим шагом, водитель молчит, как немой

Этот такой: «Я давно заметил, что самые красивые девушки живут в самых страшных домах». Я ему говорю: «У вас страсть к обобщениям! А он такой: «У меня, может, к вам страсть. Вы мне обязательно позвоните завтра. Меня зовут Евгений, для вас просто Женечка». И да визитку — вот, смотри.

Визитка черная, и золотые буквы с тиснением — Евгений Петрович Муромский. После такой истории им было даже не до Парижа — Ада, как верный друг, убрала свою мечту на время с глаз долой. Олень хотела позвонить Женечке, но не решалась. Ада собрала силы, моральной поддержки и нашла в кармане две копейки одной монетой.

— А ты уверена, что нужно ему звонить?

— Откуда я знаю, — рассердилась Олень. — Но, мне кажется, я буду жалеть, если этого не сделаю.

И они позвонили — из автомата у Центрального гастронома. Олень хихикала и краснела, Ада «работала» с возмущенной очереди желавших позвонить. Ну о чем бы стали говорить по телефону эти люди из очереди? Ясно, что о всякой ерунде. То ли дело Олень: красным лицом усердно ковала свою судьбу, чтобы ни о чем не жалеть впоследствии. Она вывалилась из будки мокрая и дымящаяся, из парной. Очередь роптала умеренно — у всех была когда-то юность, и некоторые даже об этом помнили.

Оказалось, Женечка зовет их в гости, прямо сейчас! Придется прогулять и третью пару... У Женечки был офис в центре, недалеко ресторана «Океан». Олень припудрилась, а потом долго махала руками, чтобы высохли темные пятна под мышками — но они и не думали.

— Ты просто руки не поднимай, — посоветовала Ада.

Встретил охранник, вел узкими коридорами — они петляли, как переулки. И все заставлены коробками, ящиками, тюками. Из одних тюка просыпалось белое — Ада решила, сахар. Шли на свет, как в туннеле — в далекую комнату, где уже поднимался из кресла, подоб брюхо, ражий детина в пиджаке. Сам красный, волосы — желтые, и зубы торчат, как лопасти мельницы. Ада почувствовала страх животе — сейчас он начнет расходиться отсюда по всему телу, как яд. На Олень вообще было страшно смотреть — тряслась, как маленький холодец, когда несешь его в формочках на балкон.

— Девчонки! — ликовав Женечка. — Не, я честно, очень рад. Сейчас по коньяку и «Баунти», да?

Целая гора синих «Баунти» лежала в эмалированном тазу, почему-то это особенно поразило Аду и запомнилось чуть ли не на всю жизнь. Женечка в самом деле был нешуточно богат.

«Интересно, он был в Париже?» — подумала Ада. И шепнула Олени на ухо: «Не бойся!»

Коньяк, как всегда, пахом и клопами, Ада и Олень глотали его, как лекарство. С симпатией вспоминали Алешу с улицы Дружининской — было бы неплохо еще раз посмотреть его работы. Можно даже всю папку, от первого до последнего рисунка.

А Женечка тем временем рассказывал, каким одиноким чувствует себя рядовой солдат бизнеса в наше непростое время. Говорит, кстати, неплохо, хотя и вправду питал слабость к фигуре обобщения.

— Когда-нибудь о нашем времени будут писать книги! — пророчествовал Женечка.

— Вот я, например, пишу статьи, — вмешалась Олень.

— Считай, уже у меня работаешь. А ты, черненькая? Тоже пишешь?

— И пишу, и читаю.

Женечка захохотал, как выпь, о хохоте которой, впрочем, у Ады было чисто умозрительное представление. Возможно, это сравнение было навеяно словом «выпить» — Женечка им изрядно злоупотреблял и тем вечером, и по жизни. Когда он хохотал, то становился совсем неприлично багровым, изо рта летели веселые слюнные брызги, напоминавшие фонтан «Каменный цветок» в погожий летний денек.

— Значит, тоже будешь работать. Денег дам. И шоколадок — сколько съедите за день, все ваши.

Олень так резко повернулась, что хлестнула Аду волосами по лицу — как лошадь хвостом.

— А вы бывали в Париже? — осмелела Ада.

— Неоднократно, — ответил Женечка. И налил всем еще по рюмке.

Женщины и деньги

Есть города-мужчины — Киев, Лондон, Мадрид.

А есть женщины — Варшава, Рига, Вена.

Париж, разумеется, мужчина.

Как можно было назвать его женщиной? Это Ада хотела бы спросить у Андре Бретона, творчеством которого была не сильно, но все же увлечена на первом курсе. Треугольная площадь Дофина — не оправдание и не объяснение, ведь женщина — не только треугольник.

Олень заумных разговоров не жаловала. Ей в последние дни приходилось туго: с утра — учеба, потом — работа на Женечку, да и статьи никто не отменял. Контора Женечки торговала мукой, сахаром и стиральным порошком — всё белое и сыпучее, но законно. Вечером Олень сменяла Ада, журналистка садилась за соседний стол строчить свои заметки. И расшифровывать тексты.

— Кто у вас тут так орет? — ворчал Женечка.

Олень выключала диктофон, извинялась, но как только Женечка скрывался из виду, снова жала кнопку play.

Женечка оказался безобидным, если не смотреть на него — просто душка. Ада и Олень сидели на телефоне, отправляли факсы общались с покупателями. Женечка пробовал пригласить вначале к Олени, потом к Аде — но делал он это довольно вяло, как будто с себя проверял на пригодность, не более того. К тому же у него была жена — она всегда ходила в мохеровых штанах сиреневого цвета такой же точно мохнатой куртке с капюшоном. Брови у нее были как у матрешки — нарисованные дуги.

Ни дать ни взять сиреневый медведь, эта жена вваливалась в контору «с проверочкой» каждый вечер — и так зыркала на девчонок, что они враз отучились улыбаться. Ада, впрочем, и прежде не умела. Она была, наверное, единственным человеком в мире, которого не красила улыбка. Когда Ада улыбалась, то становилась похожей на монголку — глаза исчезали с лица.

А сегодня им было и вовсе не до улыбок. Олень сочиняла эссе на тему «За что я люблю свой город».

— Я его ненавижу, — призналась Олень.

Ада придумала первую фразу: «Города любить проще, чем людей».

— Собак — еще проще, — ворчала Олень. Она была сегодня вредная, как в первый день цикла.

— Ну напиши, что любишь наш город за то, что у него богатая история. Что именно у нас убили царя.

— Да, за это я его особенно-особенно! Адка, хочешь помочь — не мешай!

Ада обиделась. Она ничем не провинилась перед Оленью. И вообще зря она так старается, даже ручку грызет. Всё равно ничем хорошего не напишет.

И Ада тоже — не напишет. Чем восхищаться в Екатеринбурге, за что его любить? Плотинка, десяток-другой исторических домов — снизу каменные, сверху деревянные. Рок-клуб. Дендрарий. Люди — злые, как в Эстонии (про злых эстонцев Ада слышала с детства) тетки, которая была первым браком в Тапе). А самое главное — это наш родной город. Мы обязаны его любить, как маму и папу. «Но ведь меня никто не спросил, где бы я хотела появиться на свет». И вот усталый служака, неизвестный ангельский чин, шлепнул отметку в карточку судьбы — «Свердловск». Год — 1971. Ада надеялась, что хотя бы место смерти ей будет назначено другое. Что может быть скучнее, чем родиться и умереть в одном городе? Если так, всю жизнь придется ходить мимо своей будущей могилы.

Между тем в Париже столько прекрасных кладбищ. Монпарнас. Пасси. Пер-Лашез. Монмартр. Олень (мы уже опять впереди, перескочили через двадцать лет) как-то была на Пер-Лашез со своим старшим сыном и восхищалась кладбищем — посмотри, зайка, как там всё здесь красиво! Медью звенела в ее словах фальшивая нота, подхваченная в путеводителе, как вирусная инфекция.

— Я тебя здесь когда-нибудь похороню, — пообещал зайка. Олень расхохоталась. Начала присматривать себе местечко и дизайн надгробия. Они вышли с кладбища последними — когда сторожа били в колокол и кричали, что семафор закрывается.

— Начинать копить деньги, — посоветовала Олень сыну, чтобы поставить точку в похоронной теме.

Писать о Париже — проще простого, приятней приятного. Но Олень сочиняет эссе про Екатеринбург, потому что завтра его нужно сдать... Тут Женечкина супруга вваливается в комнату, как сиреневая чума. Два модных цвета нового сезона — сиреневый и горчичный — таков вердикт уличной моды. Сегодня чума в новых мушкетерских сапогах-ботфортах — октябрь уж наступил.

«Октябрь! — вспоминает Ада. — Паспорт, наверное, готов!»

Она звонит Клавдии Трофимовне в ближайший рабочий день, и та возмущается: где носит Аду? Деньги нужно сдать в течение трех дней. «В течение» Клавдия Трофимовна произносит так, что нет никаких сомнений — на письме было бы «в течении». Но Ада готова простить ей и не такую ошибку, хотя обычно всех кругом поправляет, так что несчастная Эль-Маша при ней вообще боится рот раскрыть.

Но где взять деньги в течение трех дней? Скорее всего, эти дни просто утекут по течению, и Ада не сможет выловить из них ни одного лишнего доллара.

Доллар — новая валюта России, к нему все быстро привыкли, хотя некоторые до сих пор боятся подделок.

— Ах, тебе не нравится глаз президента? — кричала однажды при Аде красивая восточная женщина, когда с ней стал спорить личный меняла. — У этого президента глаз красивее, чем у твоей жены, понял?

Меняла понял, хотя жены у него вообще не было.

За время работы на Женечку Ада скопила четверть нужной суммы.

Париж уходил за горизонт прямо на глазах.

Ада два дня думала, а на третий вошла в кабинет к Женечке, где он сидел, почти не видный за коробками и мешками. И сказала:

— Евгений Петрович, мне нужна ваша помощь. Клянусь, я всё отдам!

И взметнула руку в пионерском салюте.

— Прямо так и сказала? — ужасалась Олень.

Ада раскладывала на столе новенькие доллары — как будто гадала на короля. Точнее, на президента. Сейчас она выйдет из конто и пройдет один квартал и купит себе Париж.

У Женечки сегодня были гости, один — с гитарой. Пел приятным, хотя и несколько шатким тенором песни, которые теперь стали называться шансоном.

Ада и Олень ушли на словах: «Зойка, любовь мою ты продала!»

На подступах

Москва, Киев, Варшава и Вена — мужчина и три женщины. Всего лишь четыре ступени на пути к Парижу, хотя Ада ни разу не была за границей, и Варшава с Веной ее все-таки отчасти интересовали. Тем более у нее, как у всех хорошеньких русских женщин, была польская прабабушка. «Поляки — спесивые», — считала мама. (Прабабушка числилась по папиной линии.)

Ада начала сборы за неделю до отъезда — одалживала вещи, чтобы не опозориться в Париже. Олень пожертвовала черную сумку кожаных лоскутов. Эль-Маша принесла газовый шарфик, Ада, глядя на него, вспомнила соседку сверху: она ходила в таком же, и их неприятно просвечивали сквозь ткань. Мама разрешила взять «вареные» джинсы, которые привезла из Китая себе. Велела обращаться аккуратно. Папа... Папа дал триста долларов и попросил:

— Возвращайся.

Для университета сделали больничный, Женечка просто махнул рукой: вернешься — звони! Даже слегка задело, как легко ее и отпустили.

Олень приехала на вокзал с тем самым Алешей. Смотреть на них было не очень приятно — вокруг плавало облачко общей тайны. Словечки, перегляды, хихиканья. Алеша по первой же просьбе Олени побежал за мороженым, хотя день был студеной. Свердловский вокзал, знакомый с детства — запахи саж, пирожков, чужого страха опоздать. Стены заклеены круглыми бумажками от мороженок. Строгий обиженный голос объясняет, что «пассажирский поезд номер такой-то до Москвы отправляется с первой платформы. Нумера вагонов начинается с головы состава». Ада смотрела, как Алеша обнимает Олень, и сама собой возмущалась — она ведь в Париж еще. Зачем грустить? Вот по этому, что ли, грустить — серому небу, серым домам, серым людям?

Ада не вернется. Возможно, она видит Олень в последний раз. И маму с папой сегодня утром тоже видела в последний раз перед долгой разлукой. Особенно тяжело расставаться с папой. Но он ее поймет. Потом она освоится — и всем пришлет приглашение. Крошечное разве что Эль — Маши.

Толстая проводница кивнула — поехали!

Ада обняла Олень. Алеша чмокнул ее в щеку, от него приятно пахло — как от чистого, домашнего щенка.

В вагоне Ада не сразу нашла свое место, и, когда выглянула в окно, — друзей на платформе уже не было.

Она взобралась на верхнюю полку, решила, что будет спать до Москвы.

На дне души саднило.

Ада представляла себе, как Олень с Алешей садятся в двадцать первый автобус. Олень, как всегда, встанет туда, где «гармошки» колесо.

А завтра — концерт одной знакомой группы.

А вдруг она, Ада, так и проживет всю жизнь в одиночестве?

Ну и пусть.

Главное, чтобы в Париже.

Дорожная болезнь

Москва сразу же невзлюбила Аду.

Ревнивая баба, у которой лучшие годы позади, — вот какой Ада увидела Москву в тот свой приезд.

Как только вышла на перрон, кто-то из встречающих отдал ей ногу, потом грязно обругали, будто облили с ног до головы помоями. Ада поняла: все отношения с Москвой надо свести к минимуму. Лучше — к нулю, но не выйдет.

Встреча с группой — на другом вокзале, туда и поехать. Не дать столице ни малейшего шанса.

Сумка у Ады была небольшая, даже таксисты не реагировали. Метро под боком, точнее — под землей.

Пока ехала — заболела.

Ада всегда с точностью знала, когда именно к ней пристала инфекция.

Сегодня она приняла облик дамы печального возраста — такого, что еще один шаг, и свалится в старость, как в пропасть. Но пока держится — старается, правда, лишней раз не улыбаться, чтобы лицо не пошло морщинами. Они сидели рядом в метро, Ада читала книжку, чтобы скоротать дорогу — а дама-инфекция косила глаза, чтобы читать вместе с ней. И даже цокала возмущенно языком, как Ада слишком быстро перелистывала страницы. Книжка была — «Мадам Бовари». Инфекция очень хотела узнать, чем закончится прогул Эммы с Леоном в экипаже, — и, когда Ада пошла к выходу, осталась очень недовольна. Вот эта дама и успела передать Аде «воздушным капельным путем» какую-то заразу. Ада вдохнула ее через нос — и вуаля. Еще не дождалась группы на вокзале, а уже еле-еле на нее держалась.

Каким-то чудом не ссадили по дороге.

Она провела всю дорогу до Киева, лежа на задних сиденьях автобуса. Две сердобольные бабоньки откуда-то из Уфы отпаивали страшной травой, заваренной в бутылке из-под кефира. Прочее население автобуса требовало высадить заразную девушку — но бабоньки Аду отстояли. В Киеве болезнь отступила — ушла в прошлое вместе с Оленью, Алешей, Эль-Машей и всем Екатеринбургом. Ада была еще слабойкой, но вместе со всеми посещала экскурсии. Киев — город, где сумело остановиться время. В Варшаве — городе-вдове — серо грустно, как будто это Москва. В Вене их угощали глинтвейном — и у Ады выскользнула из рук чашка, обожгло коленку и на руку так попало. Вена — дамочка с характером.

— Ну что за фефёла, — ругала себя Ада мамиными словами да с папиными интонациями, пока уфимские бабоньки мазали ей коленки вонючей мазью.

В благодарность Ада пыталась подарить бабонькам книжку «Мадам Бовари», но они не взяли. Им эта мадам была без надобности (серия «Классики и современники», мягкий переплет).

Они подъезжали.

— А так не скажешь, что Париж, — разочарованно тянули в автобусе. — Тоже грязненько...

Ада впечаталась лицом в стекло — опостылевшее за эти десять дней окно в Европу. Сердце билось в животе и голове разом.

Дома, каштаны, бульвары. Сухие листья на ступеньках метро. Кто-то заметил кончик Башни — и взвизгнул, но Ада сидела с другой стороны. Видела людей, собак, голубей — все, как один, парижане.

У Северного вокзала автобус зашипел, открывая дверь. Впорхнула встречающая сторона.

Расселение в гостинице «Жерандо» — на Монмартре.

Отличная история

Встречающая сторона — женского пола и плавающего возраста. Характер усложненный, зовут Татиана. Бабоньки начали: Тань да Тань, но она их быстро охолонула — меня зовут Татиана. Как в опере, помните: «Ви роза, ви роза, ви роза белль Татиана!» Ну если в опере, тогда конечно.

Ада решила, что Татиана — из третьей волны эмигрантов. Вынесло ее в Париж на этой волне, как Венеру. Вся в черном, по-русски говорит с акцентом, когда не забывает, конечно. На туристов смотрит с вежливым отвращением.

Автобус вытряс их рядом с гостиницей — так вытряхивают крошки из карманов.

Ада ступила на парижскую землю. Закачалась, как пьяная.

— Горе луковое! — крикнула одна из уфимских. Ада так и не запомнила, как из них кого зовут. Одну, кажется, Роза, но вот как именно? — Ты хоть здесь не падай!

Аду поселили, как и раньше, с Еленой из Омска. Начинку автобуса собирали, как парламент, со всей страны. Чуть ли не каждый гор прислал депутата. Вот только Москву и Питер никто не представлял.

Елена оправдывала свое имя — она была прекрасна, если не придираешься к тому, что во рту у нее имелось два золотых зуба. И остальное — изумительно хорошо. Ада рядом с такими женщинами чувствовала себя дворняжкой. Елена — высокая, статная, волосы густые, как парик. Любимое слово — «кошмарище». Елена больше всех требовала, чтобы больную Аду сняли с маршрута, поэтому отношения их можно было описать как ненависть под маской равнодушия. Маска держалась плохо, ненавистью прыскало во все стороны. К тому же Елена оказалась неряхой — в первый же вечер Ада обнаружила в ванной использованную прокладку, запросто брошенную пол. Попросила убрать за собой, Елена даже не шевельнулась. Убрала сама. Какое-то время в школе Ада подумывала стать врачом и совету мамы боролась с чувством безразличия — потом желание изучать медицину прошло, но и чувство безразличия не вернулось. Ада могла стерпеть чужую массажную расческу с облачком волос легче, нежели слово «фасческа», которое произносят с несуществующей «т».

В большом и радостном Париже

Мне снятся травы, облака...

В ванной Ада, забывшись, вслух читала стихи — и получила от Елены кулаком в дверь. Стихи мешали Елене изучать газету «СПИД-Инфо».

Был поздний вечер. В ресторане дали ужин — ничего особенного, но всё горячее. «И жидкое», — обрадовалась Роза, когда принесл суп.

Перед сном Елена вдруг начала рассказывать Аде о своей несчастной судьбе — ее предал муж, обидела мать, ограбил любовник уволил начальник. Ада слушала, но сочувствовать не могла — видела в мыслях грязную прокладку на полу.

Проснулась рано утром. Елена музыкально пошвытывала во сне.

Может, это было даже еще и не утро, а ночь. Часы встали, не проверишь. Дома можно набрать на телефоне «100», а здесь — вдруг попадешь куда-нибудь в жандармерию.

За окном был Париж, а ведь Ада его так пока что и не видела. Пока ехали, мелькал за окном — но это были всё те же обещания. Это мог быть просто город — вообще.

На первое свидание с Парижем следовало идти при полном параде. Ада приняла душ, вымыла голову, тщательно убрала за собой ванну. Косметичка Елены была открыта — как пасть крокодила, из нее торчала тушь «Ланком». Ада подумала-подумала — и решила и брезговать крокодилийм предложением. Да, это вам не «Ленинградская», отличное качество! Ада докрасила ресницы и с сожалением вернула флакончик на место. Наверняка в косметичке таилось множество других сокровищ, но помада или крем — это уж слишком личное. Спи спокойно, дорогой крокодил.

Побоялась включить фен — вдруг Елена проснется. Волосы сохли ужасно медленно, но, кажется, на улице не холодно, а когда волосы сохнут на ходу, они у нее красиво вьются. Решено — так и пойдет.

Влезла в свое красное пальто — всё тот же свингер, будь он неладен. Зашнуровала ботинки. И открыла дверь в коридор.

Там было тихо, но светло. Узкий коридор, лестница — Ада спускалась пешком, ступени скрипели, как у бабушки на даче.

«Если меня сейчас спросят, где я, Париж будет в списке последним», — расстроилась Ада. Срочно требовалось подтверждение — силуэт башни или хотя бы статуя зуава на мосту. Отель на Монмартре — это значит, что рядом Сакре-Кёр и площадь Тертр, парижский вариант сквера на площади 1905 года. Там сидят художники, уговаривают прохожих на портретик — и тут же продают плоды своего творчества. Как правило, безнадёжные.

В холле, где они вчера стояли в очереди за ключами от комнат, было темно.

На диване спал ночной портье — чернокожий молодец. Приподнял голову и сонно махнул рукой:

— Дор, дор! Ферме!

Дверь действительно была «фарм» — на задвижку и замок. Луна сжалась над глупой Адой, осветила часы на стене — ровно четыре.

Ада так расстроилась!

Интересно, что подумал портье? Может, решил, что она решила выйти на заработки — с утра пораньше? Скорее всего, ничего не успевать — вон как нахрапывает.

Пришлось возвращаться в комнату и ждать, когда в Париже рассветет.

Как говорит мама — неприятно, конечно, зато из этого выйдет отличная история.

В большом и радостном...

Кто только не описывал утро в Париже — и сам этот Париж!

Ада выходила из гостиницы зажмурившись — сейчас она увидит город, в который влюблена столько лет! Это была любовь по переписке, точнее, по чтению. Похоже на ожидание музыкального парада — когда уже слышишь звуки за углом, но еще не види музыкантов. Гадаешь, какие они будут. Музыка несется впереди — она всё громче с каждым шагом, но, пока оркестр не виден, мож представить его каким угодно.

Куда смотреть первым делом? В небо, исчерканное самолетами?

Ада открыла глаза — и упала в Париж, как будто сиганула с вышки. При этом она еще и просто упала, запнувшись. Напугала прохожий в шарфике — ранняя птичка, он летел за круассанами в булочную. Волновался: кричал «са ва?» и отряхивал от пыли красный свингер. / уговорила птичку лететь дальше, она — в порядке.

Она — в Париже!

Серые дома сплошной стеной, на крышах — армия рыжих дымоходов. Голубь курлычет — парижанин! Старушка в плюшевой шубе и по сезону — парижанка!

Ада спросила у старушки, который час. Старушка долго высвобождала запястье из плюшевого манжета, потом ответила — семь ровно.

Полтора часа до встречи с группой за завтраком.

Гопол смеялся, просыпаясь и уволил Аду прочь от гостиницы — она думала выйти к холму и даже видела в про свете или белы

она идет, как лестница, вверх, и каждый звук в ней — ступенька. Ада играла гаммы в подготовительном классе музыкальной школы и Dome офицеров (мама важно уточняла: «Окружном»). Бегала с тряпичным мешочком на занятия — мыслями в Париже.

В большом и радостном.

Вот Триумфальная арка, с нее видно, что город аккуратнo нарезан треугольниками, как торт — острым ножом.

Вот еще открытие — какой же маленький город! Можно за день обойти, и не устанешь.

Вот башня Монпарнас — как будто циклопический телевизионный пульт торчит посреди «рив гош». Женечка называет пульт «лентяйкой». Мама называет лентяйкой Аду — и еще, разумеется, швабру, в которую вправляют тряпку. Пульт-башню мог забыть Париже великан-телезритель. Вторая его игрушка — Башня Стефана Совестра, истинного, как считают некоторые, создателя la tour Eiffel.

На Башню группа взбиралась, когда уже вечерело — тихо загорался их первый парижский закат. Красавица-башня с ног до головы кружевах — Ада, глядя на нее, вспомнила Каслинский чугунный павильон. На ногах стоит крепко — не сдвинешь. От пяток до макуш выкрашена в бледно-коричневый цвет — как столовский бочковой кофе, и вся усыпана круглыми заклепками — вроде бы это у н пупырышки от холода, мерзнет на ветру. Такие же точно заклепки-мурашки Ада будет находить потом по всему Парижу — и в Орсэ, и Лионском вокзале, и в старых ресторанах, и даже в переходах метро. «Эльфо́ва башня!» — восторженно выдыхает русский малыш чужой группы.

И на Париж сверху Ада будет смотреть впоследствии с самых разных точек и крыш — но никогда свысока. Она будет смотреть и Париж снизу — из катакомб, жмурясь перед улыбчивыми черепами, один из которых вполне мог принадлежать Марату, а другой — Шарлю Перро. А главное, она будет смотреть изнутри, ведь настоящее чувство всегда имеет в виду соединение и растворение.

Ада хотела бы раствориться в Париже — ложечкой сахара в кофейной чашке вон того месяе. Растопыренной ладошкой осеннего ли прилипнуть к стеклу машины на бульваре. Украсть у горничной форменное платье и выйти на работу в ближайший mardi.

— Что такое mardi? — раздраженно спрашивает Елена всю группу разом. Ада, забыв о том, что рядом Татiana, на автомате переводит: вторник.

— То есть мы не попадем в Лувр? Здесь сказано, что по вторникам — закрыто!

Елена всячески подчеркивала, что хочет в Лувр, и вот, пожалуйста! Во вторник утром они уезжают. Но, будьте покойны, Елена этого так не оставит, она пожалуется кое-кому в Омске. Она вообще может сделать так, что никто из Омска больше в Париж не придет!

— Ну, Париж это как-нибудь переживет! — сказала Татiana, и Ада впервые за эти три дня увидела, какая она симпатичная женщина.

Жаль, что придется поступить с ней так несимпатично.

Это — спрос

Автобус номер восемьдесят пять спускается с Монмартрского холма и едет с правого берега на левый, до Люксембургского сада. берет левый нужен им, то берег пра-авый!» — пела Алла Пугачева за стеной у соседей, в Екатеринбурге.

Автобус номер сорок один останавливается на углу Хохрякова и Ленина, но остановка называется «Площадь 1905 года». Маленькая Ада считала, что эта площадь названа в честь нее — ей шел пятый год.

Ровно пять... нет, не лет, а дней прошло с того октябрьского утра, когда группа российских туристов уселась в автобус и отбы восвояси.

Ада не видела, как это происходило. Слонялась по левому берегу.

Наверное, Роза и Лиля до последнего не верили, что Ада «спрыгнула», уговаривали Татianу подождать — ну хотя бы немножко. Потом, скорее всего, пришла Елена с известием, что в комнате Ады и след простыл — все вещи исчезли, включая зубную щетку. Людми Герасимовна наверняка молилась и крестилась, а Татiana раздраженно звонила кому-то из любви.

Ада старалась об этом не думать. Может, и не так всё было.

В конце концов, все они для нее — чужие люди. Попутчики. Елена — та вообще пусть скорее забудется, как страшный сон, как снятся под самое утро.

С людьми родными — вот с ними что было делать? Как им это объяснить?

Ада позвонила папе утром, из телефонной будки рядом с хостелом, где она сняла в общей комнате койку. Хостел — у поднож великанского телевизионного пульта, башни Монпарнас.

Звонила на работу и попала некстати.

— Ада, ты уже в Москве? — спросил папа. Рядом с ним кто-то громко бурчал, наверное, коллега Петрович.

— Папа, я осталась в Париже! — крикнула Ада. Дерево, под которым стояла будка, зашелестело листьями — как будто книга н ветру. — Ты не волнуйся, у меня всё будет хорошо!

Она как могла быстро повесила трубку на рычаги — но всё равно успела услышать, как папа кричит за пять тысяч километров.

Ада вышла из будки, обняла дерево:

Я здесь одна. К стволу каштана

Прильнуть так сладко голове!

Потом она вернулась к телефону, набрала домашний номер Олени, но там были длинные гудки. Почему-то Ада увидела эти гудки к длиннные холодные рельсы.

Кто-то шел мимо и свистел — их с папой свистом.

С тех пор прошло целых пять дней, и они тоже были длинные и холодные.

Ада еще несколько раз звонила Олени, но всё время попадала на рельсы. Просто какая-то Анна Каренина, а не Ада Морозова.

Вообще она всегда хотела быть Анной.

Ада — это папина идея.

— Зачем ты меня так назвал? — спросила его однажды в слезах, когда мальчишки задрали чуть не до икоты. Папа в отве поцеловал ей ручку, как взрослой женщине, — маленькая Ада от этого еще сильнее заплакала.

— Это спрос, — сказал папа. — А кто спросит — тому в нос.

Ушел в спальню и закрыл дверь.

Потом уже значительно более взрослой Аде объяснила мама: так звали девушку, которую папа любил в юности. Девушка уехала ж куда-то за границу, но папа успел дать обещание, что назовет дочку в ее честь.

— Обещания нужно сдерживать, — сказала мама и сжала губы, как будто на самом деле она так не считала. Мама хотела назвать доч Анечкой.

— А куда именно уехала та девушка? — спросила значительно более взрослая, но все-таки еще очень глупая Ада, и мама тогда то: ушла и закрыла дверь.

«Наверное, она уехала в Париж», — думала Ада, ворочаясь без сна на своей неуютной койке. Это вам не двухзвездочный отель «Жерандо». Общий туалет, противные запахи, клопные пятна, зато цена, как сказала бы Олень, шадящая наши возможности.

Ничего, Ада здесь надолго не задержится. Скоро найдет себе работу, жилье, друзей.

Главное — она в Париже.

Колесо обозрения

Хорошо, что Ада знала французский язык.

Что учила его, не брезгуя ни одной темой. Диакритические знаки. Тяжелое ударение. Глубокое придыхание.

Французский язык — это был уже не инструмент, а универсальный ключ, который подходит ко всем дверям.

Жаль, что двери открывались только для общения, а не для работы.

В Париже никто особенно не мечтал принимать на работу Аду. В одном лишь ресторанчике, недалеко от ворот Сен-Пети, предложил

В Париже никто особенно не стал принимать на работу Аду. В одном лишь ресторанчике, недалеко от ворот Сен-Дени, предложили взять посудомойкой, но она не пошла — у хозяина глаза светились жирным блеском, когда он расписывал условия. Он почти всю А, целиком глазами съел, этот пузатый мужчина. Да, поневоле вспомнишь добрым словом Женечку. (И долг свой, кстати, тоже. Она в отдаст, до цента, до копейки.)

Париж следил за Адой, наблюдал ее попытки пустить корни — с любопытством, но без сочувствия. Ада по-прежнему смотрела по сторонам, когда шла по городу, — но видела теперь не только пыльных атлантов. Начинала замечать клошаров и объявления вакансиями.

В один из первых же дней Ада продала на барахолке — «плюс», как она здесь называется, — свой красный свингер. Дали, конечно совсем немного, но на вырученные деньги Ада купила здесь же неприметную теплую куртку (по-французски — «дудун»), черную, как ночная Сена. В кармане куртки нашлись два нетронутых билета на метро — Ада решила, что это хороший знак.

Потом — сережки. В брассери к ней как-то подошла официантка, русская — Ада безошибочно распознавала родной акцент — спросила, не хочет ли она продать камни? Сережки подарила мама к восемнадцатилетию, но Аде они никогда особенно не нравились. Наверное, продала не очень выгодно — но всё же это были деньги, а ее запасы рано или поздно кончатся. В уши воткнула пластмассовые пуссеты-розочки, давний подарок Олени. Чтобы дырки не зарастали.

Олень ответила на звонок только в конце второй недели, когда Ада уже почти что отчаялась найти работу. Жила всё в том же хостеле — и рассчитывала, что денег ей хватит до Нового года, если питаться один раз в день, как она обычно и делала.

На самом деле еды в большом и радостном Париже — вдоволь, надо просто не зевать и смотреть по сторонам.

Вот, например, ребенок не доел булочку и положил на краешек скамейки.

Или в «Макдоналдсе» часто оставляют картошку фри в пакетах.

С вопросом личной брезгливости замечательно справляется чувство голода.

Олень схватила трубку после первого же гудка, не успевшего превратиться в релльс.

— Адка! Ты где?

— В Париже!

— Ну ты вообще! Я не верила, что ты всерьез там останешься!

— А кто шутил?

— Нет, ну я всё понимаю, конечно, но так взять и остаться... Алеша говорит, ты Клавдию Трофимовну крепко подставила. И деньги Женечке надо вернуть. И родители твои, Адка, они же просто все черные. Отец у меня был, я с ним разговаривала. Они за тебя волнуются. Переживают.

— Ты, может, дашь мне хоть слово сказать? Сейчас монеты закончатся, и разъединятся.

— Ой, да, конечно.

— Женечке скажи, я всё отдам, пусть немного потерпит. Родителям я написала большое письмо, и еще потом напишу. А уж Алеше ты как-нибудь объяснишь. Ты, кстати, сама где носишься целыми днями? Я раз триста тебе звонила!

— Да я это, ничего особенного. Как обычно — учеба, работа, Алеша.

— Алеша уже стал «как обычно»?

— Ну да, а что такого? А где ты там живешь, Адка?

— В хостеле.

— Главное, чтобы не в хосписе, — мрачно пошутила Олень, и тут как раз окончилось время разговора — автомат с грохотом проглотил последнюю монету.

Ада выскочила из будки злая как сто чертей. Рассердилась на Олень — совсем ее не понимает. Так рассердилась, что даже Париж вокруг показался ей вдруг каким-то... непарижским.

А потом Аде стало смешно — разве можно всерьез сердиться на человека, который находится от тебя на расстоянии столько километров? Она сама улыбнулась таким мыслям, и встречная женщина ей тоже улыбнулась — как будто отразила ее улыбку в зеркале.

Ада не сразу узнала эту женщину.

Та узнала ее первой.

Та — Татиана.

Улыбка исчезла так же быстро, как испортилась в тот день погода.

Деревья сначала зашумели, потом задрожали. Дождь. Прохожие бегут, кто-то прикрывает голову портфелем, машина, припаркованная у тротуара, вдруг взвыла, как собака, которой встали на хвост. Град! Сверху кто-то швыряет ледяные камушки, целится прямоком в Аду каждый раз не попадает.

Татиана тащит Аду в кафе — а там уже набилось столько народу, как в детской сказке про теремок. И никто ничего не заказывает, пережидают непогоду. Татиана с официантом в длинном фартуке пошепталась — и вуаля, им тут же нашли столик. Ада шла рядом пристыженная — как будто с Галкой-Палкой к директору.

Столик малюсенький, места хватает на две чашки кофе и четыре локтя. Вообще локти на стол ставить неприлично — но кто об этом помнит? Уж точно не Ада.

Град лупцует мостовую, бьет машины и тех бедолаг, которых успел поймать на улице.

А у Татианы с Адой — можно сказать, даже уютно. Кофейник принесли горячий, как грелка. Молоко в кувшинчике. Даже булочки пан-о-шоколя, хотя время завтрака давно закончилось. На салфетке останутся аппетитные масляные пятна. Ада готова разорвать булочки зубами вместе с салфеткой. Татиана смотрит на нее, как на книжку: вроде бы хочется такую купить и прочесть, а вдруг с потратит время зря?

У них правда уютно, хотя столик слегка качается, за окном дождь сечет прохожих, как будто наказывая за то, что вышли, — и сил пахнет мокрой шерстью от старого свитера Ады. Словно собака попала под ливень.

— Ешь, — приказывает Татиана, и Ада глотает булочки, не жуя. А зачем жевать — они и так легко глотаются.

Татиана опять смотрит на нее, как на книгу — вроде бы она уже когда-то читала такую — но не помнит, чем закончилось. В памяти остались только общее ощущение, атмосфера, мир писателя.

После пятой булочки Татиана забрала у Ады корзинку. Так и не успела она увидеть салфетку в масляных пятнах.

— Хватит, — сказала Татиана.

Ада и сама уже почувствовала — хватит. Что-то похожее было в бассейне — когда она тонула, во втором классе, и ее рвало хлорной водой через нос. Наташка Прокопьева — у нее был хрящеватый нос и вязаный шерстяной купальник, вот так и запомнилась — хохот после этого над Адой чуть ли не целый год.

Вот и сейчас ей стало вдруг плохо.

Первое «плохо» в Париже.

— Ты что, мать? — испугалась Татиана. Так странно прозвучало. Кто кому если и годился в матери, так это Татиана Аде, а не наоборот.

В конторе Женечки работала курьером сорокалетняя дурочка — Галя. Она всегда называла Аду Адой Андреевной, а Олень — Ольгой Станиславовной. Звонила откуда-нибудь с вокзала:

— Ада Андреевна, это Галя!

Всё у нее было перепутано в голове, у этой бедной Гали. А теперь всё перепуталось в голове у Ады Андреевны, всё смешалось, как дома Облонских. Она сидит в парижском кафе, прижавшись к стеклу, по которому течет уже просто какой-то водопад. Совсем с ума съехала погода, так сказала бы мама Олени, женщина простая и мудрая.

Это обращение — «мать» — оно, наверное, вылетело у Татианы случайно. Так иногда случайно вылетают у людей из рук деньги. Или обещания, о которых они потом жалеют.

Татиана махнула официанту, он тут же прибежал. Принес кяраф д'о — воду в графине, кривом, как больничное судно для мальчишек. Этого добра в Париже хватает — воды из-под крана, бесплатно. В Екатеринбурге о таком даже подумать страшно.

Ада с трудом выпила глоток. Хорошая такая д'о. И за окном тоже течет — никак не прекратится этот дождь!

— Что же мне с тобой делать, — загрустила Татиана. — Домой взять не могу, это исключено. На родину ехать, я так поняла, ты не собираешься.

— Мне есть где жить, — сказала Ада, с трудом удерживая внутри проглоченные булочки — они рвались на волю, как все заключенные. — Вот только работу найти не могу.

— Ты ведь знаешь французский? — уточнила Татиана.

Ада кивнула.

И тут кончился дождь. Солнечный свет как будто кинжалом ударил по стеклам, посетители даже зажмурились.

Татиана расплатилась, дошла вместе с Адой до метро. Попрощались — до завтра.

— Париж, спасибо, — шептала Ада. — Я всё-всё-всё сделаю, только чтобы тебя не подвести. Ты не пожалеешь!

Город смеялся и плакал, мокрые листья деревьев и синие капли неба — как улыбка сквозь слезы.

Тогда Ада еще не знала, что это было ее самое счастливое время в Париже. Как на колесе обозрения, которое начнут ставить через полет в Тюильри — сначала ты выше всех, а потом — всегда вниз.

Правда, это парижское колесо крутят несколько раз подряд для каждого. Олень, когда пошли на второй круг, чуть кондратий не х — по ее же собственному признанию.

Испугалась, что будет теперь крутиться здесь до вечера.

Олень всегда боялась высоты.

Ищите русского дедушку

Возможно, Татиана пожалела Аду потому, что увидела в ней себя. Такую же студентку, тощего птенца, который прилетел в Париж Кирова — и сразу понял, что здесь и только здесь проведет свою жизнь.

А может, она увидела в ней собственную дочь Шарлотт — пока еще школьницу, но кто знает, что ей взбредет на ум через год?

А может, у Татианы, так совпало, был удачный день, и ей захотелось принести судьбе жертву. Ну вроде как выкупить право на счаст жертвовав чем-то незначительным и не очень дорогим.

Батюшка из Пензы, которому именно в этот момент, далеко отсюда исповедовалась Людмила Герасимовна, возможно, сказал бы, ч жертвовать лучше тем, чего терять не хочется.

Но батюшка был далеко, и вообще у каждого не только свой Париж, но и свой крест.

В плохие дни Ада видела на верхушке Башни крест, в хорошие — трамплин, а в обычные — просто антенну.

Татиана назначила встречу рядом с кинотеатром. Станция метро Ада вышла заранее, из экономии — да и просто потому, что близо, — пошла пешком по длинной, как жизнь, улице Ренн. Башня Монпарнас чернела позади, как громадный восклицательный знак.

День был холодный, но ясный, небо над бульваром Сен-Жермен — ярко-синее, с белыми облачными разводами. Похоже на камень лазурит.

Прохожие в шарфах, в перчатках. Одна мадам даже в норковом манти — и в туфлях на босу ногу! Вливаются в метро ровно, как бу их всех пропускают туда через воронку.

Татиана пришла ровно к девяти, как договаривались. Нашарила ниже домофона неприметную кнопку — перед ними открыла служебная дверь в кинотеатр.

— Будешь мыть холл и туалеты вечером и убирать зал после каждого сеанса, — администраторша перечисляла обязанности Ады таким воодушевленным видом, как будто расписывала контракт кинозвезде. — Как тебя зовут, Ада? Буду звать тебя Адель.

«Назови хоть Гангенбайном, — думала Ада. — Или вообще — Измаилом. Главное, что у меня есть работа!»

Татиана сказала, это надо отметить. Пойдем в «Леон», угощу тебя мидиями. Любишь мидии?

Ада пожала плечами.

— Ну вот заодно и узнаем — любишь или нет.

Оказывается, мидии очень вкусны — особенно если их варят в белом вине с пряностями, а ты сама так давно не ела горячего. Татиана раскрыла мидию, показала Аде, как доставать черным панцирем вкусное рыжее мяско — словно щипчиками. Когда в черной кастрюле остался душистый бульон, Татиана покрошила туда белый хлеб — и они вылавливали его ложками. Ада захмелела от сытости и радо — у нее теперь есть работа. И, кажется, подруга — пусть и старше на двадцать лет.

Когда они расставались в тот вечер, у станции метро «Saint-Germain-des-Prés», Татиана сказала Аде:

— Знаешь, если у французов кто-то вдруг начинает сильно чудить, они говорят: «Ищите русского дедушку!» Раньше меня это обижало, а сейчас я думаю: это, наверное, комплимент.

В каждом из нас уживается множество личностей, и одна берет верх над другими — по ней нас и судят окружающие, она и создает нашу судьбу. «Судьба» — от слова «судить».

Вот, например, Олень была прежде всего — друг.

А в Татиане всех побеждал — гид.

Любимое выражение — «Обрати внимание».

— Обрати внимание на эти каменные шары у порога. Они здесь не только для красоты. Так парижане берегли свои дома — чтобы экипажи не обдирали стены при въезде.

— Обрати внимание — видишь, там, слева, рельеф, голова коня? Можно подумать, что хозяин дома любил лошадок, но на самом деле здесь раньше торговали кониной.

— Обрати внимание, мы идем мимо Ботанического сада. Помнишь историю про страшный голод во время франко-прусской войны? Парижане съели всех животных из местного зверинца!

Сколько же Татиана всего знала!

И как это грустно — про животных.

Ада вдруг вспомнила: папа рассказывал, что в здании нынешнего монастыря рядом с екатеринбургским зоопарком во время войны жил слон, эвакуированный из Москвы. Жил он, говорил папа, прямо в алтаре.

Папы ей не хватало сильнее всех. А мама посмеялась бы, узнав, какую работу нашла себе дочь в Париже. Уборщица! Да после Адиной уборки в комнате следовало начинать еще одну.

Зато уроки борьбы с брезгливостью пригодились. Туалеты — они всё равно туалеты, хоть и в Париже. Сплошь тяжелое ударение глубокое придыхание.

Зрители покидают зал, у каждого на лице — следы фильма. Некоторые идут в слезах. Другие с облегчением, что закончилось. А бывают еще такие, кто любит сидеть в зале после окончания сеанса — вот их Ада терпеть не могла. Сидят с мечтательным лицом, следят экраном — пока последние титры не улетят к потолку. Это французская черта — получить наслаждение до последнего сантиметра. Ско. заплатил — столько и возьми.

Неважно, что у дверей мнется девушка с ведром — русская парижанка Адель М.

Олень часто называли «девушкой с веслом», она этого терпеть не могла, потому что и в самом деле была похожа на гипсовую статую из ЦПКиО.

Объяснить такое парижанину — никакого языка не хватит. Да и не стал бы парижанин слушать уборщицу из кинотеатра. Все вежливо смотрели мимо.

Французского языка становилось в жизни Ады всё больше с каждым днем — как в начале «Войны и мира». По-русски говорили только с Татианой, но встречались редко — обе работали, а у Татианы еще и семья. Муж-француз, который был всем хорош, кроме того, что потерял недавно место. И дочь Шарлотт — как просочилось из некоторых намеков, мадемуазель с фанатериями. Жили они далеко от Периферик. Станция метро «Télégraphe».

Ада отмывала кинотеатр шесть дней в неделю, бесплатно смотрела фильмы. Кресла в зале были красные, плюшевые. Зрители разговаривали в голос, когда шел журнал, но во время фильма молчали, как мертвые. По дороге в хостел Ада покупала у темного коричневого продавца точно такие же темно-коричневые, раскаленные каштаны в газетном кулке.

Зима была очень долгой.

Рождество Ада отметила походом в «Макдоналдс». В новогоднюю ночь позвонила домой.

Мама старалась говорить спокойно. Так стараются говорить с сумасшедшими:

— Ты когда вернешься, доченька?

— Мама, я не собираюсь возвращаться.

— А что ты там делаешь?

— Я работаю. И мне просто нравится жить в этом городе.

— Доченька, а мы как же?

— Устроюсь, и вы ко мне приедете.

— Отец! — крикнула мама. — Иди к телефону. Ада.

Дала понять таким образом, что не желает с ней больше говорить.

Ну и ладно.

Папа спросил:

— У тебя деньги есть? Сообщи адрес, я вышлю. И у Петровича скоро кто-то поедет во Францию, могу передать.

— Папочка, у меня всё есть. И я тебя очень люблю. Очень.

Монеты закончились, но Ада еще сколько-то стояла в будке — как будто рядом с папой.

Взгляд со стороны

Жизнь Ады в Париже — уборка, фильмы на французском, туалеты. В перерыве — сэндвич со вкусом бумаги. Опять уборка. Потом уставшая, домой — мимо невидимого города в свою общагу. Назвать можно каким угодно хостелом, всё равно — общага. В Екатеринбу студентка Ада в общагитии была всего лишь раз, на приеме у спортиврача. А здесь — просто каким-то старожилом стала. Соседи быс менялись, только Ада задержалась. Но потом и ей намекнули, что в хостеле так долго не живут — есть максимальный срок пребывания он совсем скоро закончится.

Париж стал невидимым, потому что любоваться некогда и нечем. Чувства не работают. «Париж в ночи мне чужд и жалок». Но всё равно — рядом и любимый. В ближайшее воскресенье Ада пойдет на выставку в Гран-Пале. И еще она ни разу не была в Венсеннском замке, а Татiana говорит, что он произвел на нее в свое время сильнейшее впечатление.

В ближайшее воскресенье Ада спала почти до восьми, а потом вместо выставки и замка уселась в кафе — как Симона де Бовуар. стала писать папе с мамой очередное письмо — листы забиты строчками, как перфокарта.

За соседним столиком расположилась типичная для левого берега парочка — профессорша в вязаной кофте и юный студент. (просматривает его работу, он косится на Аду. А что? На ней не написано «уборщица».

Вот выйти бы замуж за такого студента, мечтает Ада. Он славный, немного похож на Алешу, но изящнее. Смуглый, тонкий, гладкий — как деревянная статуя в музее Клюни. Хорошо бы он оказался французом с русскими корнями — чтобы знал язык. Ада перевелась (Сорбонну. А что? На своем курсе она была одной из лучших.

Мечту о Сорбонне Татiana перечеркнула крест-накрест.

Русских в те годы там почти не было, «мы для них — такой же экзотик, как японцы». Не зря в переводе с французского «этранже» — не только «иностранец», но еще и «чужой».

Только лет через пять в Париже появилось столько русских, что это уже никакой не «экзотик», а правда жизни. Туристки подметали парижские мостовые полами норковых шуб, богатые дети поступали кто в Нантер, а кто и в четвертую Сорбонну.

Студент раскраснелся под взглядами Ады — а может, еще и профессорша его пристыдила за плохо раскрытую тему и неточные ссылки.

Что-то она там ему такое объясняла. Кофе — остыл у обоих.

Ада раскрывала в своем письме тему любви к Парижу.

За что я люблю этот город?

А ни за что.

Люблю — и всё.

Интересно, вот когда женщина жертвует собой (и другими) ради любви к мужчине или родине, науке или ребенку — этим принято восхищаться. Дескать, такой силы любовь, что она просто не могла ничего с собой поделать.

Но почему нельзя так любить город?

Ада поставила сразу три вопросительных знака — все похоже на басовый ключ. Она училась в музыкальной школе, потому что пап так хотел. Ради него отрубилa полный семилетний срок. Сонатины Кулау, этюды Черни, Шуман на выпускном.

Сейчас, наверное, не сможет ничего сыграть — руки отвыкли, особенно левая.

Студент уходил из кафе, озираясь. Так и не решился подойти.

Ада вздохнула. Подумала — как он, интересно, ее увидел?

В Париже — все наблюдают себя как будто со стороны.

Она сидела в кафе, день был солнечный — и свет падал удачно, а самое красивое у Ады — это кожа. Сейчас это ей было уже известно прошла пора думать глупости про широкие плечи и узкие колени. Кожа нежная, гладкая, ровная. И белая — кажется, под ней течет кровь, а молоко. Ада отпивает из чашки — кофе, наверное, уже совсем ледяной. И трогательно собирает пальцами крошки от круассана.

Ада сама залюбовалась, глядя на себя со стороны глазами студента, который на самом деле давно уже был в метро и ехал в сторону Шатле. Что означает — очень уютно.

Письмо свое Ада отдаст вечером Татiane, она отправит его со скидками и льготами. Почтовые услуги здесь дороги, как и все прочие.

На соседнем столике — газета, на первой полосе — фото из России, где всё опять не слава Богу. Люди на площади в Москве — их так много, что фото похоже не на снимок демонстрантов, а на отрез набивной ткани или поле цветущих тюльпанов.

У Ады — дар видеть не то, что нужно. Но вечерами по воскресеньям она почти счастлива.

Один из таких вечеров стал счастливым уже без всяких «почти». Татiana велела ей приехать на станцию (она не могла), встретила на выходе и вела довольно долго вперед с загадочным видом.

Оказалось — квартира! Крохотная, туалет общий — на два этажа. В комнате — собственная раковина, как в больничной палате. И стене — гравюра, вид Нельской башни. И целый список условий: чужих не водить, с собаками не пускать, как только квартира потребует хозяевам — немедленно съехать. Хозяева жили в Америке, муж-филантроп и жена-мегера. Квартиру сдавал муж, «очень благотворительный», по мнению Татiany, человек.

— Обрати внимание, станция названа в честь битвы при Алезии. Верцингеторикс против Цезаря.

Ада переехала на следующий же день. Целовала пол, обнимала собственную раковину (засорившуюся), молилась на гравюру с башней.

Свой угол в Париже!

Дельфин

Париж в последние месяцы изменился.

У него много что было припрятано для Ады — он просто не спешил показывать всё сразу. Это как в браке — люди не торопятся предъявить весь свой характер цельной глыбой. Потихонечку открывают то одно, то другое.

Ада и не думала, что здесь будет в таких подробностях представлен многоликий арабский мир.

Не догадывалась, что французы настолько расчетливы и прагматичны — знакомая кассирша позвала ее однажды выпить чашку кофе два часа, оплаченные этой чашкой, сообщила, чем Ада может быть ей полезна. Таких примеров — как выпитых за день порций кофе.

Ада не могла себе представить, что русских в Париже называют «Ле Попов» и вовсе не спешат привечать. Не знала, что парижане массе своей — ксенофобы и мрачные пессимисты.

Месяца через три после града на бульваре Татiana взяла ее с собой в один русско-французский дом. Точнее, в квартиру. Еще точнее квартирёшку. Две комнаты и недокухонька. Туалет прячется за стеной, как встроенный шкаф — извиняясь всем видом за существование.

— Зато район хороший, Монсо, — сказала Татiana, когда они ехали в метро. Татiana везла пирожные в красивой коробке, а глупа Ада — букет белых роз. Гордилась, что выкроила денег на эти цветы — оказывается, грубейшая этикетная ошибка. С цветами — только свадьбу и похороны.

— А у нас — день рождения, — сказала Татiana, похлопывая Аду по плечу. Ада ужасно расстроилась. Куда теперь этот букет? Татiana вздохнула: ну, поскольку Надя — бывшая москвичка, то она, возможно, даже обрадуется.

Так и получилось. Розы приняли с благодарностью и тут же унесли с глаз долой.

Вообще довольно скучные были гости, все говорили на французском, много пили и шутили. Говорили только про еду. Ада смущалась ей не хватало языка — вот как некоторым не хватает денег или смелости. Отвечала на простые вопросы, и только. Дочка Нади — с ровесница Ады, голова наполовину бритая, как у каторжницы. Зовут — Дельфин. Имя подходило широкому рту и маленьким глазкам Дельфин не проявила к Аде никакого интереса за пределами обычной вежливости и еще до десерта отправилась к себе в комнату. И проводила ее напряженным взглядом, а муж ее — вот уж кто француз так француз! еще и Алэн, — потрепал жену по плечу, как бу, бормоча что-то про жареный. В этом жесте Ада увидела своего папу — так же он остро ухаживал, что брызнул из стада барана. К счастью

говорила: ну, не переживай. В этом жесте Ада увидела своего папу — так ясно, остро увидела, что глазам тут же стало горячо. К счастью кускус, который она жевала, был страшно острый — и все решили, что слезы на глазах у «русской Белоснежки» — от перца.

Ада впервые видела Париж изнутри — вот какой у него, оказывается, вкус. Перец и слезы.

— С этой Дельфин — одни проблемы, — сказала Татиана, когда они уже почти что спустились в метро, но в последний момент всё же решили погулять в парке — дойти до следующей станции. День был хороший, теплый, не сказать, что зима. В Екатеринбурге сейч наверняка сугробы ростом с человека. Детей кутают в шарфы до самых глаз. А здесь в воздухе было что-то неясно-свежее, весел Татиана даже сдернула с шеи платок, и от него поднялся теплый аромат — Ада знала эти духи, у них было собачье имя «Трезор».

Раньше она очень любила духи — даже больше нарядов и уж точно сильнее, чем украшения. В школе у Ады были мыльно-сладк «Шахерезада» и рижский «Диалог», который она помогала тратить маме на пару с Оленью. Потом появились наконец французские «Исфаган». Флакончик был в форме урны для праха, а запах — как обморок. На рынке в Екатеринбурге эти духи называли «Испахан».

В Париже Ада каждый день по пути на работу заходила в «Сефору» — и бесплатно пшикалась «Трезором». Она даже красилась в эти магазине: у одного стенда ресницы, у другого — губы. Обязательно крем для рук. Между прочим, не одна Ада так делала — со времени ней даже начали здороваться соседки по стендам, любительницы дармовой красоты.

Татиана, вместо того чтобы продолжить рассказ о Дельфин — весьма интересный для Ады, потому что эта недобритая девушка ей чем-то понравилась, — так вот, Татиана стала рассказывать о парке Монсо, потому что гид в ней с разгромным счетом побеждал все прочи ипостаси.

Парк — бывшее владение герцога Орлеанского, который, как известно, был масоном — и потому здесь так много масонских символов.

— Обрати внимание на эту египетскую пирамиду, — сказала Татиана, обнимая широким лекторским жестом довольно-таки невзрачную — как на детской площадке — кирпичную постройку.

Еще в Монсо нашелся памятник Шопену — он так вдохновенно играет на рояле, что доводит до слез примостившуюся в ногу слушательницу.

И памятник Мопассану.

— И еще, обрати внимание...

— Расскажи про Дельфин, — невежливо перебила Ада. Татиана обиделась, гид внутри нее предлагал немедленно распрощаться дерзкой девчонкой и не встречаться неделю как минимум! Но вдруг, впервые в жизни, капитулировал перед другом.

— Ну, раз тебе неинтересно про Монсо...

— Мне очень интересно! Кстати, это ведь здесь казнили коммунаров?

— Да, — сказала Татиана. — А про Дельфин рассказывать особенно нечего. Малышкой была такая прелестная билингва. Моя Шарлотт, например, вообще не хотела говорить на русском — и сейчас не говорит. И училась всегда плохо.

Татиана тяжело вздохнула. Ей было обидно за свою Шарлотт, которая всегда пребывала на задних ролях — «у озера», как говорят кордебалете. (Ада кое-что знала про балет — в детстве мама пыталась увлечь ее этой каторгой, но, к счастью, педагоги сочли дево «аморально ленивой».)

— Надя и Марк всю жизнь для Дельфин расписали вперед — вот, знаешь, как портреты рисуют по клеточкам. Но ведь жизнь — это живопись. Года три назад началось — плохая компания, выпивка, Надя боится, что и наркотики. Сейчас Дельфин под домашним арест потому что была какая-то история то ли с угоном машины, то ли с дракой. Марк проще ко всему этому относится, он участник парижск мая.

— Да ты что! Неужели правда?

— Правда. «Запрещать запрещается», и всё такое. На самом деле это старая песня — все бунтари в Париже превращаются в буржуа. Это естественный процесс, как приход весны.

— А чем Дельфин сейчас занимается? Учится?

— Да, в Сорбонне, отделение «Летр».

Литература. Ада попыталась сглотнуть комок зависти — но он крепко застрял в горле.

— Но и с учебой хватает проблем. Прогулы, вранье, низкие рейтинги... А еще у нее каждый месяц новый мальчик ночует. С такой дочкой никаких сыновей не надо... Знаешь, как говорила моя одесская бабушка? «Плохая девочка хуже плохого мальчика».

— Да, — невпопад сказала Ада. Ей было совсем неинтересно про сыновей и дочек. А вот про Дельфин она бы еще послушала.

Олень, Дельфин... Вы звери, господа!

На прощанье Татиана показала Аде коринфскую колоннаду — колонны окружали пруд и отражались в воде. Вода и не думала замерзать — зима была теплая.

За все эти месяцы Ада всего лишь раз видела тоненькую, как на крем-брюле, корочку на водоеме в Тюильри, над которым скольз скульптурные Аполлон и Дафна — очень уместно похожие на конькобежцев.

В Екатеринбурге река Исеть покрывалась ледяной коркой такой толщины, что Ада и Олень запросто ходили по ней с одного берега другой. Лень было из видеобара «Космос» топать пешком до Плотинки.

На льду — молчаливые рыбаки, каждый в своем «домике»-палатке.

А эта колоннада в парке Монсо напоминает ротонду в Харитоновском парке, пусть и отдаленно. Папа гулял там с Адой в детстве.

Надо же, как часто она стала об этом вспоминать.

Начала видеть их в Париже повсюду.

Папу. И Екатеринбург.

Бермудский Монмартр

Автобус номер 91 идет от Монпарнаса к Бастилии.

Ада ездит этим автобусом по воскресеньям — теперь она работает няней, оплата почасовая, ребенку пять лет, и он до сих пор соспустышку. Работу предложила Надя — на следующий же день после того, как они с Татианой были у нее в гостях. Оказывается, / произвела приятное впечатление (даже розы его не подпортили), а приятели Нади хотят сохранить у ребенка русский язык. Они т были в гостях: месье — француз, волосы темного серебра, жирные и блестящие, напомнили Аде селедку. Мадам, конечно, русская. Нат: Таким хоть сто лет исполнится — они Наташи навек.

— Лялечку родили с трудом, — рассказывала Татиана, — уже сильно за сорок обоим было. Мальчик сложный.

Не то слово. По любому поводу Паскаль выгибался дугой, как истеричка.

— Je suis susceptible, — объяснял, когда, разумеется, не держал во рту пустышку.

Паскаль по-прежнему носил памперсы, хотя ростом был выше всех малышей на площадке, куда Ада приводила его после завтрака.

Ада не очень любила детей. Но раз уж ей доверили ребенка — да еще и платили за это (а месье Селедка даже иногда подбрасывал сверху пару купюр, жаль, что мелких), — она, конечно, старалась делать всё на совесть.

Читала маленькому Паскалю русские сказки.

Разговаривала с ним на русском. Старалась готовить русскую еду — потому что обед тоже был ее обязанностью. Месье и мадам воскресный день отдыхали. Честно сказать, они радостно сбежали из дому, как только Ада появлялась на пороге.

Ада умела готовить — спасибо маме и преподавательнице труда Нине Ивановне, которая schoлила учениц так, как будто собирала выдать их замуж за своих собственных сыновей. Мама научила варить борщ, лепить пельмени, печь блины. Нина Ивановна подарил рецепты оливье (в Париже он известен как «русский салат»), сельди под шубой, драников и яблочного пирога «шарлотка». Вот и всё Адино меню — но Паскаль не жаловался, видимо, за его гастрономические пристрастия отвечала мамина русская кровь. Ада, заправляя са майонезом, слушала знакомый чавкающий звук соуса — и опять вспоминала дом: Новый год, папа разливает шампанское. Или виде Нину Ивановну — пробует салаты у каждой девочки, на кого-то глядит хмурой ведьмой, кому-то улыбается, как добрая волшебница.

Больше всех учениц Нина Ивановна любила Олень.

— Справная девка, — считала она. — Такую всякий замуж возьмет. И ручки ловкие!

~

~

~

Олень краснела от таких похвал, завистливая Ада еще долго потом дразнила ее «справной девкой».

С Татианой они теперь встречались реже — Паскаль отнял у Ады воскресенья, она работала без выходных, но и денег откладывая теперь больше, чем раньше. Долг Женечке уже можно было выплатить — вопрос, как переслать деньги в Екатеринбург?

На детской площадке Паскаль вел себя плохо, другие родители не любили, когда он играет рядом с их детьми. В нем прав, чувствовалась ущербность, поэтому Ада привязалась к нему по-настоящему. Близких в Париже у нее не было — а этот белобрыс мальчик трогательно принимал головенкой к ее плечу, когда они смотрели вечером телевизор.

Наташа и месье Селедка возвращались поздно, от них пахло вином и сигаретами. Ада уже и забыла, когда от нее самой так пахло.

Месье Селедка расплачивался, Паскаль требовал соску, потому что не любил, когда Ада уходит.

Она шла к остановке автобуса и думала: я представить себе не могла, что у меня в Париже будут нелюбимые улицы и даже целые районы.

Вот эта Бастилия, к примеру, ей совсем не нравилась — и квартал Марэ, и даже площадь Вогезов с ее зоркими окнами. Хотя именно здесь сохранился настоящий Париж, не перестроенный неутомленным Османом.

Марсово поле Аде тоже не нравилось.

Но хуже всего был Монмартр. И сама эта гора с ее путанными улицами и лестницами, увенчанная белыми шапками собора. И особенно «изножье» — район бедноты, секс-шопов и дешевых лавок, где приличные парижане покупают себе разве что пижамы. Поезда метывырываются здесь на волю и летят мимо серых домов, и от дневного света у пассажиров болят глаза.

Тогда, в октябре, Ада пропустила экскурсию на Монмартр — пока группа послушно толкалась на площади Тертр и посещала муз Сальвадора Дали, Ада уходила из гостиницы, чтобы не удивить никого своими сумками.

Она явилась на свидание с Монмартром значительно позже — и первое, что ей сказали при выходе «доглатывая метро

«Любовь давай» на русском языке. То, что ее сразу же признавали русской, Аду не обижало — это был скорее комплимент, нежели упрек.

— Они видят наши скулы, — объясняла Татiana, — здесь это называется «шарм слав», славянский шарм.

Так что она не обиделась. Но — «любовь давай» был явный перебор.

В тот первый месяц Ада страшно сэкономила, даже курить решила бросить. По дороге к фуникулеру зашла к зеленщику за «обедо два мандарина и банан. Она была невинное дитя, ей и в голову не пришло, что эти фрукты можно выложить на прилавке так, как это сделал продавец. Молодой не то индус, не то пакистанец широко улыбался, глядя, как Ада убирает в сумку эту фруктовую композицию. Сейчас она, конечно, нашлась бы, что сказать.

Продавец раздухарился, протянул одной рукой сдачу, а другой потрепал Аду по щеке и сказал с большим чувством:

— Кароши!

Конечно, можно сказать, что Монмартр здесь ни при чем — Ада невзлюбила его из-за людей. И еще потому, что жаль стало платить франка за фуникулер, и она поднималась пешком — а потом заблудилась, потеряв из виду ориентир — Сакре-Кёр. Издали купола Сакре-Кёр похожи на трех туристов с рюкзаками, тяжело бредущих в гору. А вблизи это был архитектурный урод. И художники на площади Тертр, действительно, рисуют ничуть не лучше, чем в сквере у екатеринбургского Пассажа. Кабаре и музей эротики Аду тоже не заинтересовали. Понравилось только кладбище — Ада искала могилы знаменитых покойников, как ищут грибы в лесу под Сысертом. Нашла Нижинского, Берлиоза и Стендаля — у него на памятнике сказано «Арриго Бейль. Миланец. Жил. Писал. Любил».

Ада подумала, что, если ей доведется умереть в Париже, она бы хотела такую эпитафию: «Адель Морозов. Парижанка. Вечно любит этот город».

Выходила с кладбища, доглатывая слезы — плакать хотелось так сильно, как, бывает, хочется есть или спать. Но Ада никогда не позволяла себе рыдать прилюдно — это был, с ее точки зрения, непростительный моветон. Хотя, если подумать, именно здесь, на кладбище, плакать уместно. По Стендалю, Берлиозу, Нижинскому — а лучше всего по себе самой.

Вышла она с кладбища — и опять заблудилась.

Карту города Ада самонадеянно перестала носить с собой еще в ноябре — а зря. Была у нее такая особенность — теряться в самых простых и понятных местах.

В Екатеринбурге это был район, очерченный улицами Фурманова, Белинского, Московская и Куйбышева. Олень даже называла его «персональный Адкин Бермудский квадрат».

— Он у меня как-то не раскладывается, — жаловалась Ада, когда ее в очередной раз не могли дождаться в каких-нибудь гостях Чапаева.

— Мы понимаем, на Вторичке заблудиться, — негодовали хозяева, — но у нас тут практически центр!

В Париже роль «Бермудского района» отвоевал Монмартр.

И в первый раз, и после Ада плутала здесь, как сиротка по лесу — притом что весь прочий Париж давно уже выучила наизусть, как поэму.

Монмартр у нее тоже «не раскладывался», а дорогу спрашивать Ада не желала из гордости. Да и попадались ей одни только туристы.

Шла вперед, читала таблички с названиями улиц — подсказка должна была прийти с помощью слов, а не пейзажей. Улица Дюранте, Трех Братьев. Д'Орсель. Площадь — и на ней симпатичная церковь Сен-Жан-л'Эвангелист, кирпичная, как старый уральский завод. И площадь — спасательная станция метро.

Ада вошла, вдохнула знакомый запах подземной жизни — и успокоилась. Пообещала себе приезжать сюда как можно реже.

В принципе, она это обещание выполнила. Она вообще старалась соблюдать по отношению к себе честность. Поступай с собой так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие, — это один из основных законов жизни по Аде Морозовой.

А сейчас она едет в девяносто первом автобусе — и думает о том, как же передать деньги Женечке.

И как отучить Паскаля от пустышки, не разрушив его личности.

И еще — когда же она, наконец, начнет наслаждаться тем, что живет в Париже?

Пока у нее нет на это времени.

Ни-ми-ну-ты-сво-бод-ной.

Город летит мимо — картинки за окном автобуса меняются так быстро, что это может быть даже не Париж. Могли подменить город ночью — Ада всё равно не заметила бы.

Как не заметила девушку, которая вошла на «Сен-Бовис» и уставилась на нее умными дельфиными глазками, явно пытаясь вспомнить, где и когда они виделись.

Голова у девушки была наполовину бритой, как у каторжника.

Элизиум

Вот так Париж впервые признал Аду своей.

Это ведь только постоянные жители города могут встретить в общественном транспорте других постоянных жителей — к тому своим знакомых.

Так считала Ада.

Неизвестно, считала ли так же Дельфин — скорее всего, она вообще об этом не думала.

Она думала: где же, мерд, я видела эту лохматую девушку? Что-то с ней связано неприятное, скорее всего — родители. Один из этих дурацких званых ужинов, где отец по-прежнему изображает левого интеллектуала. Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Дельфин родилась через пять лет после революционной весны, в мае.

Русская мама в минуты нежности звала ее «Мой майский кекс». А в минуты занудства объясняла: «майским кексом» в СССР лицемерно маркировали пасхальный кулич. Мать по сто раз повторяла все свои замшелые истории, Дельфин их уже просто слышать не могла.

Она искренне ненавидела родителей. Давно бы уже съехала от них, но Надя в этом вопросе стояла насмерть. Просто какой-то Сталинград.

У русских взрослые дети живут с родителями долго, этим они похожи на арабов.

Дельфин встречалась в прошлом году с арабом — до сих пор приятно вспомнить. Ничего лучше с тех пор, честно сказать, не было.

Кажется, эта автобусная мочалка приходила к ним домой с Татианой.

К Татиане Дельфин относилась терпимо, она не пыталась воспитывать и даже похвалила однажды ее прическу. А вот дочка у нее бы — хуже не придумаешь. Ни внешности, ни ума — сплошь кости да амбиции.

Мочалка тем временем улыбнулась Дельфин — и улыбка эта была такой жалкой, что у Дельфин в животе жарко вспыхнуло сочувств. Как будто спичку туда бросили, честное слово. Больше, чем родителей, она ненавидела только вот это свое внутреннее сострадан, которое включалось без всякого ее желания.

Мочалка, конечно, из России.

Приятно еще раз познакомиться. Адель. Дельфин. Аншанте.

Языки девушки знали примерно одинаково — Адин французский был равен Дельфиньему русскому. Можно говорить на своем родн — а слушать чужой.

Дельфин собралась выходить за две остановки до Ады. Затянула шарф, ушла было, как вдруг вернулась — резкая, некраси Протянула визитную карточку, там было только имя и номер телефона.

— Приду к тебе в кино, — обещала. — Позвони, договоримся.

Ада позвонила через три дня — было наглухо занято.

Набрала домашний номер. Екатеринбург.

Трубку взял папа и, не дав ей даже слова молвить, выпалил: скоро в Париж приедет человек от Петровича. Он будет ждать Аду 11 марта в шесть вечера у Эйфелевой башни. В черной кожаной куртке, высокий рост, седые волосы. Кирилл Леонидович Буркин.

— Я отправлю с ним деньги, — сказал папа. — Запомнила, куда прийти?

Ничего лучше, чем Эйфелева башня, папа с Петровичем не придумали.

Крайне неудобное место встречи!

Папа с Петровичем не представляли себе, какая она громадная.

Ада и Кирилл Леонидович Буркин будут описывать круг за кругом, пока не встретятся — если встретятся вообще.

Но она придет, конечно же. Тем более — папа отправил деньги. Может, еще что-нибудь — такое, о чем она скучает.

О чем она, кстати, скучает?

Больше всего не хватает книг. «Госпожа Бовари», отвергнутая башкирскими цветами, выучена наизусть. Татиана принесла вял детектив из ~~сервиса~~ ~~bookseller~~ — его оставил кто-то из туристов. Филологи (даже недоученные) без книг быстро начинают болеть и вянуть — это правда.

Еще она скучала по маминым котлеткам и баклажанной икре. Но здесь на Кирилла Леонидовича, конечно, надежды не было.

Еще — по своей удобной кровати, подушке без единого комка и уютному большому одеялу, в которое можно завернуться, как в ковч левом углу одеяла — вышивка «Аде от бабушки». Бабушке было важно, чтобы Ада помнила всю жизнь, кто подарил ей такую роскошь.

Она помнила.

Вот прямо сейчас вспоминает.

Еще она скучала по домашним своенравным часам-ходикам, которые вели себя произвольно и сами решали, когда ходить, а когда стоять. Часы-стоики.

Ада снова набрала номер Дельфин — и та ответила.

Сказала, чтобы Ада приехала к станции «Barbès-Rochecouart», к девяти вечера.

Она познакомит ее с друзьями.

Ада помнила, что Дельфин под «домашним арестом».

Ей не очень понравился этот императивный тон.

И встреча была назначена слишком уж в поздний час — Аде после работы совсем не хотелось тащиться на правый берег. На окаянн Монмартр.

Лучше бы Дельфин приехала к ней в кинотеатр — днем был хороший фильм, «Пришельцы». Ада смотрела его раза три, и он казался всё лучше с каждым сеансом. И она уже через минуту после появления на экране Жана Рено забывала, что это — Жан Рено. Нет лучи признания для актера, чем скорость, с которой мы забываем его имя, глядя на игру. А какой в «Пришельцах» Клавье! Заодно проверила как у Дельфин с чувством юмора. Вот у Олени с ним был полный порядок...

Олень... Как она там?

В почтовый ящик, который Аде помогла открыть Татиана, упал уже десяток писем из дома — а Олень прислала только два. В перву разнообразными словами ругала Аду и только под конец выдала, как милостыню: «Ужасно скучаю, Адка! Возвращайся!». Второе пись пришло через три месяца и было мягким и ласковым, мех да шелк — Олень подробно, без халтуры и замалчиваний, пересказывала г городские новости. Некоторые были — удивительные! Аду неприятно покорило известие о том, что Эль-Маша завела роман с аккордеонистом одной знакомой группы — это доказывало не только то, что аккордеонист страдал слепотой, но и то, что Эль-Ма приблизилась к заветным кушам, вокруг которых Ада и Олень безрезультатно ошивались целый год. Женечкина мохеровая супруга > второго ребенка. Олень и Алеша решили жить вместе — и она вот-вот переедет к нему, на Дружининскую. «Не так уж и далеко, кстати, писала Олень, — если приспособиться к транспорту».

Что еще? В Екатеринбурге открыли «Гёссер-бар» — недалеко от цирка. Очень крутое, по мнению Олени, заведение: пиво здесь чернс и горькое, официантки — сплошь в белых блузках, как секретари-референты. Олень случайно пришла в такой же блузке и целый в отбивалась от заказов.

Ада читала письмо Олени в свободный вечер — Паскаль болел, и мадам Наташа сидела с ним безвылазно. Ада была нужна ей именнс на случай вылазок, а так она и сама неплохо справлялась со своим материнством. За исключением пустышек и памперсов, разумеется, без исключений редко когда подохнется. Это вам подтвердит любой учебник русского языка.

Целое свободное воскресенье — как подарок, но это письмо всё испортило. Одним словом «цирк», которое включило, развернул высветило так много всего забытого. На Елисейских полях Ада увидела вдруг свой город — ночной, скупо освещенный... Недорыт метро, ажурный белый купол цирка, похожий на модную шапку размером с спортивный институт, рядом с музеем — здоровенная каменюка, жеода бурого железняка. Внутри у этой жеоды — громадное дупло, в котором запросто могла разместиться не одна мале: девочка, а целый десяток. (Пришлось бы, возможно, утрамбовывать.) Маленькая Ада обожала жеоду — и всякий раз, когда папа брал с собой в институт, забиралась туда, как медведь за медом. А теперь в том районе открыт какой-то бар с горьким пивом, где Оле принимают за официантку. И Ады там нет, надо же, как быстро ее все забыли — даже Олень лишь на два письма расщедрилась. А е журналистка.

И в жеоду бурого железняка прячется какая-то другая девочка.

Ну и что, вскинула голову Ада. Зато она — в Париже. Идет-бредет по Елисеям, так, глядишь, пройдет пешком историческу парижскую ось. На ось, как на кукан, нанизаны стеклянная пирамида, целых три арки, луксорский обелиск, сад Тюильри и Елисейс Поля.

Подумаешь, улица Куйбышева, горький бар и какая-то бурая железяка из прошлого. Да рядом не лежали.

И пусть Эль-Маша подавится своим аккордеонистом. Он, кстати, из всей знакомой группы самый красивый.

Ах, Париж!

Вот же я, иду по твоим мостовым, тротуарам, иногда наступаю на канализационные люки, а иногда и на что похуже.

Зачем вспоминать Екатеринбург?

Надо же, какие они длинные, эти Елисеи. Просто какие-то нескончаемые.

В витринах — столько ярких платьев. Оранжевые, розовые, зеленые.

— Мы ждем, когда пройдет эта мода, — высокомерно сказала однажды мадам Наташа. Она, как все истинные парижанки, признава только серый, черный, синий, белый и разве что капельку красного. На донышке, как вино на пробу.

Ада едва ли не до самого Дефанса дошагала в этот день. Устала хуже, чем в будни, стерла ноги туфлями, которые ей отдала всё та мадам Наташа. Она развз несимпатичные моды сбрасывать. Ада свои старые вещи размером с них сбрасывала, выкидывала, категорически н

мадам наташа. Она взяла несимпатичную моду совмещать Аде свои старые вещи: размеры у них совпадали, вкусы — категорически нет. Ада любила удобные, уютные вещи с небольшим количеством придури. Наташа была леди, и когда Ада надевала — а куда деваться? — вещи, то весь Париж говорил ей: «Мадам!».

Мозоли заживали долго, даже сейчас еще побаливают — хотя она в удобных ботинках. Они с Оленью купили себе одинаковые ботинки в коммерческом магазине на Пушкина, правда, у Олени — на два размера больше. Стоит Ада в этих удобных ботинках, рядом уличным телефоном, — и думает, ехать на встречу к Дельфин или не ехать?

Париж пожимает плечами так, что деревья ахают и стонут.

«И каждый дом на набережных Сены»

Разумеется, она поехала.

Не так и много здесь развлечений; друзей — и вовсе мало.

Друзья, за исключением Паскаля (а он еще ребенок, потому не в счет), у Ады здесь — женщины.

Может, прав был Андре Бретон и зря она копила к нему вопросы?

Может, Париж — действительно женщина?

Ада много раз вспоминала того студента, с которым они переглядывались, вместо того чтобы ей пить кофе, пока слушать своего научного руководителя.

Честно сказать, она специально заходила потом в это кафе недалеко от Сорбонны, но не встречала там болы научную даму.

У Парижа много прозвищ.

Панама.

Парижск.

Памплюш.

Город света.

Модная столица.

А еще все считают, что Париж — город любви.

Ада здесь уже полгода — и сердце ее может вместить еще какое-нибудь чувство. То есть Париж никуда не д прежнему любит.

Но как-то глупо жить здесь одной.

Она вспоминает много и подробно свою несчастную любовь. Силится представить того мужчину в Париже — не п Парижем не подходят друг другу.

Тогда Ада мечтает о том, кого еще нет.

В мужчине ей важны в порядке убывания:

— ум, — рост, — сдержанность, — красивый голос, — и пусть он хотя бы чуть-чуть знает русский.

О таких мелочах, как сексуальная совместимость и медицинская страховка, Ада не думает. Она так молода, что мелочи, и всё, что нужно, появится со временем.

В назначенный день Ада надевает наименее элегантные Наташины обноски — черные брюки (катышки в промеж если не щупать — а кому ее здесь щупать?) и серый свитер с линялыми пятнами под мышками. В химчистках эти именуют «закрасами». Но если не размахивать руками, как она когда-то давно, в позапрошлой жизни, советовала выглядеть вполне прилично. Уральские ботинки и халявный макияж из «Сефоры» тоже, конечно, добавили шарму. Вуаля!

Дельфин с друзьями ждут в назначенном месте. Какой все-таки гадкий район! И друзья у Дельфин такие, что, бу бы тоже посадила дочь под домашний арест. Ухватки бандитов, но при этом все они аккуратные, как гимназистки. О окурком в урну — подошел, поднял, исправился. Для бывшей жительницы Екатеринбурга, где по сей день принят машины и харкать на мостовую, — это был, конечно, культурный стресс.

И еще ужасно смешно и мило, что все эти малолетние хулиганы говорили на французском — даже панк с гигантск на голове. Картинка и звук так не подходили друг другу, что Ада хохотала не меньше, чем над фильмом «Пришельцы».

— Ты зачем смеешься? — почему-то с кавказским акцентом спросила Дельфин. — Тебе мои друзья смешные?

— Нет, они классные, — испугалась Ада. — Я просто очень рада познакомиться.

— Мне уже пора, — сказала Дельфин. — Иначе мать опять оставит без карманных денег. Пойдешь со мной или побудешь с ребятами?

— С тобой, — сказала Ада. Она хотела есть, вдруг Дельфин пригласит на ужин?

— Мы с мамой встречаемся в «Шартье». К ней какие-то подружки приехали, а она всех туда водит на ужин. Хочешь с нами?

Ресторан «Шартье» с улицы не разглядишь — название и неоновая стрела показывает куда-то во двор. Мало ли к Ада в жизни бы не додумалась пойти в том направлении.

Оказалось — просто замечательное направление! «Шартье» — бывшая бульонная, причем бульона здесь хватило Парижа. Внутри всё гудит и клокочет — два этажа, интерьер бель-эпок, за столиком у входа японцы дегустируют 1 годы Париж был доверху полон японцами, как сейчас — русскими. Ада голодна, но на телячью голову всё равно не проводит ее мимо длинной очереди — «нас ждут». Ада крутит головой — какой красивый зал! Здесь бы музей откры Дельфин поднимается на второй этаж, и там действительно сидит Надя за столом, накрытым бумажной скатертью, а Одна — в темном платье, с плохим запахом изо рта, других примет нет, но и этих достаточно. Вторая — из породы вечно обиженных на несправедливость времени. Обе противные, а Надя — прелесть. Жаль, что Дельфин совсем на не жаль, что эта мысль читается в глазах матери всякий раз, когда она видит свою дочь.

Что уж говорить про подружек-москвичек. У вонючей даже рот открылся сам собой, а списанная красotka начал выкрикивать:

— Ну да! Конечно! Я помню тебя таким ма-а-аленьким дельфинчиком, а сейчас вот какая ты выросла красавица!

Ада уже сталкивалась, несмотря на скудный жизненный опыт, с такими дамами — они считают своим долгом вс Хотя вот именно в этом случае было бы лучше промолчать. Она сама, к примеру, тут же опустила глаза вниз — и увиде написаны какие-то цифры.

Умница Надя включила любезную парижанку:

— Ты правильно смотришь, Адочка! Это особенность «Шартье» — здесь пишут заказ прямо на скатерти!

И вправду — прибежал официант в длинном фартуке, спросил, чего желают мадмузели? Дельфин заказала, к уж гриле. Москвички — улиток и креветок. Надя — эльзасский шукрут. Ада долго вычитывала самое дешевое блюдо и н целых два — родной салат из помидоров с огурцами и сельдерей под соусом ремулад.

— Адочка, ты вегетарианка? — переспросила Надя, но Ада не ответила. Она ведь не знала с точностью, заплатят з Официант вслух повторил заказы, еще почеркался на скатерти и улетел вниз с полным подносом чужой грязной посуды.

Вонючка и Красotka (имен Ада не запомнила — потому что дамы представлялись еще и с отчествами) пошепталис сегодня они могут выпить. Надя тут же выбрала подходящее вино, а пробу снимала Дельфин — как хозяйка пробует к губам бокал и осторожно пригубила.

— Неплохо, — одобрила, и бутылку разлили на всех.

Смотреть, как ведут себя малопьющие дамы после ста граммов — редкое удовольствие. Красotka в минуту налил как будто бледная ягода «виктории» созрела на глазах у пораженного саловола. Она дернула себя за ворот блузки

как будто последняя глава «Викторий» созрела на глазах у пораженного садовода. Она дернула себя за ворот блузки, заушала таким тяжелым смехом, что люди стали оборачиваться в поисках возможной совы. Было ясно, что Красотка очень привлекательным — во всяком случае, Ада не решилась бы ее разубеждать. Впечатление несколько портила застрявшая у Красотки между зубов.

Вонючка вела себя кардинально противоположным образом. Хороший коп ходит с плохим копом, интраверт лк Вонючка дружит с Красоткой. Выпив, Вонючка поначалу ушла глубоко в себя и сидела за столом с несколько оскорб не поддерживала беседу, не ела своих улиток — даже не пыталась выковырять их из домиков специальной вилочкой, настраивается — и сейчас будут стихи:

Неслись года, как клочья белой пены...
Ты жил во мне, меняя облик свой,
И, уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнутые стены.

Читала Вонючка нараспев, хорошо интонировала и подвывала в нужных местах. Ада невольно заслушалась, вс русской литературе, которые вел у них большой знаток поэзии. Читал по памяти, и Вонючка ему не уступала:

Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзенной не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.

Здесь она забыла продолжение и еще раз повторила последнюю строку — как в припеве: «И каждый дом на набережных Сены...»

После чего резко наклонила голову, как будто поклонившись — и ее двойной подбородок расцвел на платье широким воротником.

Надя, насколько успела понять Ада, больше всего в жизни не любила экзальтированного поведения — да еще какой! — и теперь вежливо улыбалась Вонючке белыми губами. Хороший коп Красотка попыталась аплодировать локтем тарелку с потрохами. Дельфин невозмутимо поймала тарелку в воздухе, а следом — и Адин взгляд, всё в секунду:

— У меня хорошая реакция!

От тарелки с потрохами пахло вкуснее, чем от Вонючки.

Ада доедала салат, пытаясь в то же самое время решить: можно ли ей взять еще один кусочек хлеба из общей ко, неприлично?

Надя тем временем не сдавалась — развлекала всех общей беседой:

— Говорят, что у Шартье в прежние времена завтракали грузики с Центрального рынка.

Ада закашлялась, хлеб угодил, как мама говорит, «не в то горло». Маленькая Ада спрашивала: а сколько у чело, горить — «горлов»?

Эта маленькая Ада снова выпрыгнула из жеоды железняка — хозяйкой бурой горы. Она услышала слова «Цен, увидела не то, что каждый. И вспомнила не Золя и не Жака Ширака.

Ее опять унесло из Парижа — не удержаться! Двадцать шестой трамвай со страшным скрежетом повернул на Мос, будто слегка завалился набок, высаживая Аду. Олень подхватывает ее под руку — скорее, концерт вот-вот начне, купить колготки и тушь для ресниц.

Весь рынок — на ногах. Люди стоят и держат перед собой вещи, как будто прикрываясь. Ада и Олень идут чере, откуда-то несутся заклинания цыганок:

— «Мальвины», «Мальвины», берем «Мальвины», девочки!

Джинсы «Мальвины» им точно не нужны. К цыганам у Олени врожденное отвращение — Ада подозревает, что (боится. Однажды на Амундсена цыганка схватила Олень за волосы — и дернула, так что та даже взвизгнула, бедная Ады никогда не мечтала о том, чтобы волосы у нее росли пореже.

А цыганка стала еще плевать себе на руку, прямо в кулак, где были зажаты волосы:

— Сделаю тебе по-всякому, лучше заплати!

Олень призналась, что выкупила у нее свои волосинки, как заложников.

Много чего можно вспомнить про этот Центральный рынок.

Как-то раз Ада ждала, пока продавец найдет сдачу, и вдруг почувствовала у себя в кармане куртки чужую руку, при, У Ады сильные руки — спасибо этюдам Черни и сонатам Кулау. Прижала воришке запястье и как закричит:

— Костя! Костя! Иди скорей сюда, меня грабят!

Откуда она взяла этого Костю, потом только вспомнила. Это у нее была такая давняя мечта — чтобы старший брат плечи такие, что на каждое можно по кирпичу положить — и не упадут. Он бы научил Аду собирать окаянный куби, может только одну сторону), брал бы с собой на рыбалку. Мальчишки во дворе жаловались бы взрослым:

— А чего она своим братом страшит!

К сожалению, этой мечте никогда не сбыться. Нет у нее Кости. Но иногда — в редких случаях — даже мечта помогает.

Воришка затрепетал — прямо как рыбка, которую поймал бы Костя:

— Не надо, не зови его! Я тебе, вот, десять рублей дам.

Ада взяла деньги, разжала свой наручник — воришка полетел прочь, как будто им из лука выстрелили. Такие вот этюды черни.

Начинающий, наверное, был, — думала она теперь в «Шартье», почему-то — с симпатией.

А пьяные гости тем временем завели с Надей и Дельфин неприятную беседу. Дельфин участвовала в разго, соглашалась со всем сказанным, кивала и мыслями находилась едва ли не так же далеко отсюда, как и Ада. Несчаст, всех.

— Вот ты, Надька, живешь в Париже, — говорила Красотка, — и думаешь, что мы тебе завидуем.

Вонючка отрицательно покачала головой, предугадывая следующую мысль.

— А мы не завидуем! — продолжала Красотка. — Да, здесь красиво, и вкусно, и магазины... Но ведь ты полнос, питательной среды родного языка! Дочь уже почти не хочет говорить на русском, верно, деточка?

— Не хочет, — подтвердила Дельфин.

— Но ведь это очень плохо для нее, — сказала Вонючка.

— Я ей передам, — развеселилась Дельфин.

Надя вздрагивала, пытаясь ответить, но ей каждый раз преграждал дорогу сухой и острый палец Вонючки, ход, сторону, как «дворнику» по стеклу машины.

— Мы не хотели тебе говорить, — заявила Красотка, — но ты уже звучишь с акцентом. Тебе нужно как можно бол, ппаяла. Зинаида Павловна?

правда, Зинаида Павловна.

— Правда, — подтвердила Вонючка. — Вот я вам сейчас еще прочту.

Она декламировала Волошина, потом Цветаеву, потом еще какие-то стихи о Париже, каких Ада, к удивлению свс считала, что знает все.

— Да кто они такие? — спросила шепотом у Дельфин, пока Вонючка кланялась, снова распластав на груди подбородки.

— Артистки, — зевнула Дельфин. — Кстати, у меня есть для тебя очень хорошая работа. Насильно лучше, чем мыть туалеты в кино.

Дельфин делала очень смешные ошибки в словах, но Ада не решалась ее исправлять.

А Надя шикнула на девушек. Не болтайте! Лучше послушайте русскую поэзию. Она, судя по всему, робела пе подружками. Хотя была раз в сто лучше. И красивее. И добрее.

Вонючка оказалась набита стихами под завязку, они сыпались из нее, как звезды с неба в летнюю ночь. И читала прекрасно — Ада наслаждалась, слушая, а то, что за соседним столиком негромко возмущается французская семья, — ну так что ж.

От еды Аду слегка клонило в сон, но, когда принесли счет, она взбодрилась. Счет был общий, правда, Надя тут же кто сколько должен платить. Подруг это явно расстроило — а вот нечего критиковать людей на их территории! От А отказалась. А неловкая Вонючка уронила с балкона двадцатифранковую купюру, и снизу тут же раздался счастливый смех:

— Денежный дождь!

Вонючка испугалась: вдруг ей не отдадут купюру? Их нравы, гримасы капитализма, чужой монастырь... Но тут Дел принесла деньги, и Зинаида Павловна потеплела:

— В целом, конечно, прекрасный это город — Париж. А вы, Адочка, тоже учитесь в Сорбонне?

Баш на башне

Бог с ними, этими пожульканными артистками, — пусть их и дальше тошнит стихами и премудростями.

Бог с ними, а Париж — с нами.

Дельфин так осточертела учеба, что она решила купить себе рабыню — для посещения лекций, конспектирования Единственное условие — не проговориться папан или маман. Даже Татиане — ни слова. Дельфин будет платить Аде месяц — в кинотеатре столько получал разве что директор.

— Откуда у тебя деньги? — спросила Ада.

— Экономия завтраков, — отшутилась Дельфин.

Учиться в Париже — пусть и не за себя, а за ленивую француженку, да еще и на отделении «Литература» — кто отказаться?

Кто точно не сможет — так это Ада.

Из кинотеатра ее отпускали неохотно. Таких старательных работниц, к тому же без вредных привычек — днем с вернуться, двери будут всегда для нее открыты (в том числе и двери в туалетные кабинки).

Сначала Ада, как всякий нормальный человек, хотела совместить одну работу с другой (Паскаль оставался при лю воскресенье Дельфин не покушалась), но ее новая хозяйка запротестовала.

— Мне надо, чтобы ты полностью выкладывалась. Я должна не просто учиться, я должна быть одной из лучших!

Видимо, родители что-то пообещали в обмен на успехи своей «рыбоньке», как называла ее в минуты нежности Над об этом, отследила внутри себя самой какую-то странную реакцию. Впервые в жизни ей стало по-настоящему обидн одну из лучших студенток Уральского государственного университета. Никто и никогда не пытался подкупить ее — н коня в обмен на приятные родительским сердцам записи в зачетной книжке. Ада училась только для самой себя.

А теперь будет учиться для Дельфин.

Первую неделю они ходили на занятия вместе. Ада и не думала, что так соскучилась по учебе — но как вдохнула кн чуть не прослезилась.

Конечно, преподавали совсем не то и не так, как дома. И само здание — Нантер, «колыбель папиной революции», ка ничем не напоминало университет в Екатеринбурге. УрГУ — строгий и величественный храм науки. И цвет у него т серый, как у мокрого слона.

Нантер похож на скучное офисное строение.

Студентов каких только нет. Вот разве что русских.

Русские появятся позже. Матрешки, благодарственные письма от «Газпрома», сумки «Луи Виттон», брошены туристические рюкзаки в электричке.

Ада — как динозавр — была раньше.

И скрывала всё, что было в ней русского.

Выдавали акцент, тревожный прищур и скулы.

Учиться оказалось легко. И радостно, что не нужно больше драить чужих туалетов.

На второй неделе Дельфин уже не ездила на занятия. Ада и без нее отлично справлялась, даже забывала иногда, что учится не за себя, а за «рыбоньку».

Татиана заволновалась, как будто на расстоянии почуяла перемены в жизни Ады. Звонила, приезжала, а ее вс Оставила записку у консьержки: «Ты где? Срочно перезвони!» Ада позвонила в воскресенье, сказала, что нашла др расскажет. Паскаль не дал им долго разговаривать, для него настали сложные времена — отучались и от соски, и от памперсов сразу.

А фальшивая студентка едва не забыла о встрече с Кириллом Леонидовичем Буркиным, папиным гонцом. В п вспомнила!

Вышла на станции метро «Hakim» — и снова, в бессчетный раз замерла от мысли, что она здесь, в Париже. Привыкн получилось еще очень нескоро.

Мост Бир-Хаким и сам собой красив, и Башня выглядит отсюда совсем иначе. Рядом — узкий Лебяжий остров и Свободы.

Первым же человеком, которого Ада увидела под Башней, оказался седой мужчина, соответствующий описанию сжимал чемоданчик-«дипломат». И поглядывал на вершину Башни с каким-то, как показалось Аде, осуждением.

— Мы ведь поднимаемся, да? — спросил он Аду сразу же после того, как они друг друга признали. — Ты уж, поди, сто раз там была?

Буркин сразу решил, что с Адой можно запросто, на «ты». Раньше ее такие мелочи не смущали (как д'Артаньян женских рук), но сейчас панибратство покорило. Более того, Буркин даже на Башню вдруг сумел распространить свое воздействие — впервые в жизни Ада подумала, что она похожа не только на первую букву ее имени или ракету на стг еще и пьяницу, писающего на дерево, широко расставив ноги.

В Екатеринбурге Олень жила на первом этаже, с видом на стройку и магазин. Однажды поутру, выглянув в окн

шеренгу солдат перед забором — они на нем не писали, они на него писали.

Кирилл Леонидович имел полный рот железных зубов — и, наверное, запросто мог бы перекусить ими проволоку улыбался и тащил Аду за руку, чтобы купить билет на Башню.

Наверх шустро летели красные коробочки лифтов.

Она, честно сказать, не собиралась никуда с ним подниматься — взять бы деньги, да и уйти обратно, к мосту «Бир-можно было сделать, не обидев Кирилла Леонидовича, совершенно непонятно.

К тому же она поднималась на Башню давно — в октябре, вместе с группой.

И не отказалась бы еще раз посмотреть на Париж с верхней площадки — там, где золотистые телескопы, а люди черные, как шелуха от семечек.

Кирилл Леонидович умело занял очередь, в нем чувствовалась советская «сборка». Непонятно почему Аду это вдруг расстроило.

Она заметила, что под курткой у Буркина — рубашка в клетку, и эта клетка — точь-в-точь как на рубашках игральных карт.

А на пальцах гонца — лиловые цифры 195?..

Кого же ты прислал ко мне, папочка?

Не хочу я с ним никуда. Даже на Башню.

Очередь шла быстро, Ада пыталась вести беседы: как вам Париж, да как там в Екатеринбурге.

Темы благодатные, говори — не хочу.

Вот Буркин и говорил.

Париж ему не нравится, потому что здесь всё дорого и никто не понимает по-русски. Могли бы выучить после русской эмиграция для Франции.

— Вы хотели сказать, после того, что сделала Франция для русской эмиграции? — не поверила своим ушам Ада несомненно, ее — всё такие же, к сожалению, крупные. Олень часто дразнила Аду Буддой).

— Я сказал то, что хотел сказать! — надменно объяснил Леонидович. — Мы облагородили ихнюю породу, понимаешь?

И сплюнул на асфальт. Плевков получился густой, с зеленой серединкой. Ада хотела гордо удалиться, но они у очереди, откуда не выберешься без громких извинений и расталкиваний уважаемой публики.

Она замолчала, и всё время — пока поднимались вверх, на первый, второй и третий уровень, молчала. Думал архитектора Башни — между прочим, именно Стефан Совестр придумал эти арки, украшения и круглую маковку...

Кирилл Леонидович укоризненно смотрел с башни вниз. Потом, Ада увидела, достал ножик из кармана (как месяц в старой считалке) и начал вырезать на перильцах буквы.

— Вы мне деньги привезли? — грубо спросила она.

— А как же, — ответил Буркин и сплюнул вниз. — На головы беспечных парижан! — засмеялся он. Не чужд оказался поэзии.

— Мне пора идти, — отчетливо сказала Ада. — Отдайте деньги, пожалуйста.

— А кто узнает, что я их тебе не отдал? — дерзко спросил Леонидович, убирая ножик в карман. — Ты же этот, как тебе поверит?

— Папа! — сказала Ада. — И Петрович узнает, я всё расскажу.

— Ну, ты это, успокойся. Что так вопишь, на нас вон уже какой-то мужик, это самое, смотрит. Будут тебе твои и помощи мне с покупками. Я жене, это самое, туфли обещал. И вино французское.

Ада успокоилась. Буркин сердился не на нее, а на Париж.

Перед тем как спуститься, он зашел в туалет — чтобы, по всей видимости, пометить собой Башню всеми доступными в это время подошла к перильцам — и, прищурившись, как будто смотрела фильм ужасов, глянула, что там выцарапала. Ожидала традиционные три буквы, но нашла только две — К.Б. Этот вензель ее странным образом растрогал.

Через час они уже были в Дефансе — купили и туфли, и вино в «Николя». Дефанс понравился Леонидовичу — современное. «Небоскребы, это самое! И цены — можно жить».

Он даже на ужин Аду пытался пригласить, но она сказала, что очень занята.

Прощались на площади Звезды. Леонидович с неохотой вынул из сумки мятый конверт.

— Ну, прощай, нелегал! — сказал напоследок.

И Ада, в облегчении и радости от того, что деньги с ней и всё это окончилось, — испытывала в то же время странную прежде тоску — по родным словам, родной грубости, родным привычкам, таким нелепым и таким, оказывается, живое время перенес ее домой, в Екатеринбург.

А теперь она снова осталась одна.

«April in Paris...»

Папа прислал так много!

Честно сказать, можно было месяц вообще не работать — а жить себе в удовольствие, как испокон веку было принято в Париже. Не все так здесь жили, но многие. И воспоминания о том, как прекрасен Париж для бездельников, эти многие носили потом с собой всю жизнь: Утешались этими воспоминаниями, доставали их при первой же возможности. Не зря Хемингуэй назвал свою книгу «Переносно празднику».

Ада, впрочем, и не работала. Она училась.

В субботу приходила к библиотеке святой Женеьевы и вместе с другими студентами стояла в очереди.

Читала то, что нужно было прочесть Дельфин, а потом еще и для себя — Газданова, Куприна, Бунина.

Бунин был любимым писателем Адиной мамы. Она читала его по кругу, не могла насытиться.

Папа ревновал к Бунину — он вообще всегда страдал, когда мама хвалила кого-то другого, не папу:

— У него все рассказы о том, как он любит простых баб.

Ада вычитывала из прозы Бунина Париж — опять, как раньше. Как будто не было за стеной Парижа реального.

Читальный зал библиотеки — как старинный вокзал.

И эти трогательные, такие личные лампочки...

В воскресенье — к Паскалю. Мальчик повзрослел, изменился. Вдруг начал стесняться Аду, отказывался переодевать при испанишки.

— Превращается в мужчину, — сказала мадам Наташа. И снова вручила Аде мешок с обносками.

Дельфин наслаждалась свободой и высоким рейтингом — контрольные в течение семестра за нее писала Ада. И вела конспекты каждый день отмечалась за мадемузель Пакте.

Но вот как быть с экзаменами? Не может же она превратиться в Дельфин на самом деле! Даже если сделает такую же дурацкую стрижку, Ада и Дельфин совсем не похожи (к счастью для Ады).

Ее это очень беспокоило, а Дельфин всё время отмахивалась — да ладно тебе, что-нибудь придумаем.

Это у нее было очень русское качество — оставлять всё на потом, рассчитывать на Бога, черта и доброго человека, лишь бы не на себя.

Ада между тем понемножку обросла в университете знакомыми — то есть она поначалу пыталась быть нелюдимой и скованной, потом расслабилась. Дружить с ней никто не рвался, но здоровались и общались так, что это могло сойти за некоторое подприятельства. Большого Аде, наверное, не требовалось — она была счастливо влюблена в Париж. Счастливо влюбленным людям друг не нужен — особенно в тех случаях, если ты собираешься обмануть этих друзей в конце семестра.

В апреле, когда парижские каштаны в одну ночь вдруг покрылись розовыми цветами, Ада шла через Сите, возвращаясь с пра берега. Был ранний вечер. Туристы выбегали на середину бульвара дю Пале — и замирали перед объективами.

— Сними, чтоб цветочки попали! — услышала Ада. И какой-то уличный артист тут же запел, как в ответ:

...April in Paris, chestnuts in blossom

Holiday tables under the trees

April in Paris, this is a feeling

No one can ever reprise...

Ада прикасалась к домам и дворцам, приветливо кивала Нотр-Даму и Сен-Шапели — как старым знакомым. Проверяла, всё ли в месте в ее владениях — так ли прекрасен Париж сегодня, как вчера? Город был теперь ей близок и понятен, он стал родным, и как хорошо ей не нужно отсюда уезжать. Нет ничего хуже, чем уезжать из города, который ты понял и полюбил, — это всё равно что умирает тот момент, когда ты разобрался наконец, зачем живешь.

Что и говорить — пока ей сказочно везло.

— What have you done to my heart... — допел наконец артист и деликатно подопнул ногой свою кепку в сторону слушателей. Ада бросила туда монетку, но она укатилась куда-то в сторону. И затерялась. «На хорошую погоду», — решила Ада и подошла ближе к публике, чтобы не промазать во второй раз. Попала.

— Спасибо, — по-русски сказал певец.

Странно: раньше Ада не замечала, сколько в Париже русских.

Той ночью, апрельской и кашпановой, ей впервые приснился другой город.

Она ехала в троллейбусе и мерзла. Очень мерзла. (Видимо, сбросила с себя одеяло, а отопление она не включала с февраля, потому счета приходили такие, что согреться можно было от одного только взгляда на эти суммы.) Он весь насквозь промерз, этот троллейбус, с Химмаша. Задубевший, как пододеяльник, который оставили сушиться на улице — а ночью внезапно выпал снег. И этот пододеяльник стоял колом, как выражалась мама Олени, женщина простая и мудрая.

Ада сидела высоко, в том кресле, которое на колесе, — и была в троллейбусе совсем одна.

Внутри — темно, за окнами — только лунный свет. И троллейбус едет и останавливается, где нужно, с какой-то ненавистью распахивая дверцы. Ада не успевала понять, где они едут, а потом в троллейбусе откуда-то взялся еще один человек — мужчички тонкими чертами лица, такими тонкими, что это были именно черты, черточки, очертания... Может, это были даже не черты, а черт лица, потому что в нем, в этом мужчине, имелось что-то хитрое, чертовски четко очерченное... Он был в легкой куртке и ботиночках, а Аду сновидение напялило толстую шубу, которая совершенно не грела, но всё равно была шубой, по крайней мере с виду.

Черт бегал по вагону в своих ботиночках, пытался согреться, но это было бесполезно — Ада поняла, что он сейчас замерзнет насме если она не поможет.

— Снимайте обувь! — скомандовала она. Пока тот стаскивал с ног окостеневшие ботиночки, Ада, шатаясь, чтобы не упасть, — троллейбус летел быстро — перешла к нему, плюхнулась на сиденье напротив и сказала:

— Кладите сюда ноги.

Сюда — в смысле, под нее. Самое теплое в этом троллейбусе место.

Черт послушался, через секунду Ада сидела на его ледяных ступнях, как курица на мертвых яйцах. Потом троллейбус всё с той ненавистью раскрыв дверцы — и на черном фоне Ада вдруг увидела белый резной купол цирка, похожий на колпак для торта, а рядом с ним — серый хобот недостроенной телебашни. Олень, чуткая к любому пейзажу и несомненно одаренная по визуальной части, все возмущалась этим соседством.

— Не надо быть Фрейдом, чтобы понять, что я имею в виду! — говорила Олень, хотя Аде эта фраза больше бы понравилась, будь оконченной на слове «Фрейдом».

Всё это она вспомнила во сне и удивилась — откуда взялись цирк и телебашня, ведь троллейбусы здесь не ходят... Троллейбус, будто отвечая, начал вдруг громко, протяжно гудеть.

Ада проснулась в своей холодной комнатке, с остывшей грелкой в ногах.

За окном был Париж, воскресенье. Громко и протяжно гудел домофон, как будто вообразил себя пароходом.

— Кто там? — спросила Ада, всё еще не очнувшаяся от этого странного и, несмотря ни на что, прекрасного сна.

Ранний воскресный гость — и в последнее время редкий. Татиана.

Лицо у нее такое, что Ада сразу проснулась и поняла — сейчас будет неприятное.

Татиана была похожа на человека, который с трудом пытается открыть «Советское шампанское» за новогодним столом. Были у нее и лице и предвкушение, и опасение, и желание сделать всё красиво — чтобы не выстрелить ни в кого пробкой.

Раньше она всегда приносила с собой круассаны, пирожные или сыр, какое-то вкусное излишество, которое Ада себе позволит

могла.

Сегодня утром руки у Татианы были пустые, и она их сложила на груди крестом, как женский Наполеон. Ада в старенькой ночнуху, списанной из гардероба мадам Наташи, чувствовала себя голой и глупой.

— Что случилось?

— Со мной — ничего! — Татиана как будто извинялась за то, что у нее всё в порядке. — А вот с Дельфин — очень даже случилось! — тебе русским языком говорила: у девочки проблемы. Она — наркоман.

— Наркоманка, — поправила Ада, с ужасом понимая, что не утратит способности исправлять речевые ошибки окружающих даже смертным одре.

Татиана так грозно глянула на Аду, что она вынуждена была схватить халатик со стула и завернуться в него — добавить лишней защитной одежды.

— Будешь чай? — виновато спросила у гостей, и та сдалась — знакомым движением рванула с шеи свой платок. По комнате поплыла душная волна «Трезора». Ада плюхнула в чайник горстку заварки. Татиана достала из сумки плитку шоколада и рассказала наконец историю.

Дельфин в последние недели так решительно исправилась в учебе и поведении, что Надя слегка ослабила хватку, а Марк никогда не пытался как-то влиять на дочь — он считал, что сделал для нее самое главное, подарив жизнь. Надя, проверяя конспекты, убедилась, что «рыбонька» плывет верным маршрутом — и начала понемногу отпускать ее из дома. Потом кто-то из родителей хватился, оказывается, Дельфин давно подобрала пин-коды к их кредиткам и высасывала понемногу с каждого счета — как змеиный яд из раны.

— Мне придется всё это вернуть? — ужаснулась Ада. Как все эгоистичные люди, она моментально вычленила из потока информации то, что касалось ее особы лично.

— Нет, — сказала Татиана. — Надя прекрасно понимает, что тебя на это подбила Дельфин. И не такая уж там на тебя уходила сумка На кокаин — гораздо больше.

В один прекрасный вечер Дельфин доставили в клинику с передозом. Откачали, живая. Родители увозят ее в закрытое заведение куда-то в провинцию.

— Бедняги, у них такие долги, а теперь еще и это, — сочувствовала Татиана.

Ада заплакала — это были первые слезы в Париже. Она плакала очень редко, иногда специально заставляла себя смотреть грустные фильмы про бедных старичков или несчастных брошенных собак — чтобы выплакаться. А тут, без всяких фильмов, заплакала соплями, всхлипами, с трясущейся губой.

Татиана перепугалась, начала рыться в своей сумке — то ли платок искала, то ли таблетку. Нашла в собственной голове — идею.

— Пойдем гулять! Я сегодня почти свободна — Шарлотт с ее папой уехали к свекрови.

— А ты почему не поехала? — успокоившись, спросила Ада. Умыться, высморкаться, одеться — и забыть эту истерику, как страшный сон. Сон, впрочем, был не страшный, и он-то как раз не забылся.

— Не переживай, они и без меня отлично проведут время, — ровно сказала Татиана, но уголком губ все-таки дернула.

— Но у меня сегодня Паскаль.

— Позвони и скажи, что заболела — голос у тебя как раз подходящий, осипший.

Мадам Наташа расстроилась, но согласилась с тем, что не следует подвергать опасности слабую иммунную систему Паскаля.

Ада считала, что они прогуляют рядом с домом, может, дойдут пешком до Люксембургского сада, но Татиана повезла ее в метрически любимый район — Сен-Дени.

— Когда мне грустно, я всегда сюда приезжаю, — сказала Татиана. Она много чего рассказала Аде в тот день — как волновалась за всё это время, как напридумывала неизвестно чего. Шарлотт даже приревновала маму к этой русской девочке, которая моет туалет в кино.

— Больше так не пропадай, пожалуйста, — попросила Татиана. — И, кстати, что с кино? Вернешься?

— Ты так спрашиваешь, будто я снимаюсь в главной роли, — сказала Ада.

Они грустно посмеялись.

За окном поезда показалась гигантская тарелка стадиона.

— Нам на следующей, — сказала Татиана.

Базилика Сен-Дени выглядела очень странно — как будто у нее отломали левую башню.

— Здесь похоронены почти все французские короли, начиная с Дагобера, — сказала Татиана.

Статуи лежали на спинах, как мертвые люди. Татиана опять включила в себе гида — до отказа. Рассказывала про меч Жанны д'Арканжа, рог Роланда, шахматы Шарлеманя, зеркало Вергилия и золотую чашу Соломона — до революции всё это хранилось здесь. А по возбужденные толпы (она так и сказала) разграбили аббатство — и заодно выкинули отсюда останки королей. Пятьдесят четыре дугроба Бурбонов были вскрыты, как банки с сардинами! Тело Людовика Четырнадцатого смердело, лицо было черным, как у черта.

— Говоришь, тебя это успокаивает? — съязвила Ада, но Татиана не услышала. Глубоко ушла во французскую историю. По поясу меньше.

Потом венценосный прах вернули на место, в крипту. И даже добавили новые надгробия — тела Людовика Шестнадцатого и Мари Антуанетты, которые лежали в яме на улице Анж.

Татиана на секунду умолкла, а потом вдруг спросила:

— Кстати, кто твой любимый французский король?

— Генрих Четвертый, — сказала Ада.

Ада и Адель

Зачем теперь ходить на лекции?

Точнее, ездить. Не ближний, кстати, свет. (Учение — свет.)

Ада маялась-маялась, потом вскочила в шесть утра — и поехала в Нантер.

И хорошо сделала, что поехала.

Тем утром она встретила студента. Того, из кафе, который был смуглый и тонкий, как деревянная статуя в музее Клюни. Лицо из резких углов, мечта кубиста. Волосы блестящие и черные. И он ее узнал. Глаза вспыхнули, бонжур!

Ну, бонжур.

Как тебя зовут?

Адель.

Да ну? Меня тоже.

Оказывается, это еще и мужское имя, немецкого происхождения. И арабского.

У этого Аделя мама — немка, а папа — араб. Они хотели найти такой вариант имени, чтобы подошел и одной культуре, и другой.

А меня зовут вообще-то Ада. Я русская.

Я так и подумал.

Почему я тебя раньше не видела?

Не знаю, всё время здесь провожу.

А я теперь, наверное, не буду учиться.

Почему?

(Ну вот как ему объяснить?)

И так не хочется, чтобы он уходил...)

Париж выдал им две встречи — вдруг на этом всё?

»

даже в таком маленьком городе можно жить и не встречать друг друга годами.

К счастью, существуют телефоны. У Аделя есть даже сотовый — его можно носить с собой и звонить откуда пожелаешь.

Ада позвонила вечером — из будки, которая рядом с метро.

Они гуляли в Люксембургском саду, пересчитывали статуи королев. Охранник у дверей Сената громко пел песни, не покидая свс поста. Туристы бросали монетки в фонтан Медичи. Вдали гигантским черным зубом торчала башня Монпарнас.

Потом был церемонный ужин. Шелковые салфетки, мясистые опаловые устрицы, ледяное белое вино, от которого Ада вдруг опья так, как будто должна была оправдать этим вечером все другие — трезвые.

Она рассказывала Аделю про свой родной город — Екатеринбург.

В расказах Екатеринбург выглядел жалким и убогим, и сложно было понять, почему Ада плачет, вспоминая строительные забор отодранными досками и рыбаков на льду городского пруда.

— Утром выходишь из дома — а там всё черное, как в гробу.

— Наверное, ты скучаешь по родителям и друзьям, — сказал Адель. — Но я тебя понимаю — ты хотела уехать в Париж, а я всю жи: мечтал о Нью-Йорке.

У них не только имена были одинаковые.

Они еще и в города играли оба.

Истинный парижанин, сын немки и араба, Адель влюбился в Нью-Йорк, когда ему не исполнилось и пяти лет.

Увидел афишу в бюро путешествий — ошетинившийся Манхэттен, гигантский шприц Эмпайр-Стейт-Билдинг и желтый Бродве такси плывут по нему, как по Нилу крокодилы.

После этой картинки родной серый Париж показался Аделю скучным, как вечер с родителями.

— Я люблю Дефанс, — говорил Адель, — вот скоро его достроят до конца, и будет похоже на Манхэттен.

Родители подарили ему поездку в Нью-Йорк на окончание школы. Адель всю неделю не спал, ему казалось, что сон в этом городе предательство, или уж, во всяком случае, большая глупость.

Он поднимался на крышу Международного торгового центра.

Пил пиво в клубе «Джекил и Хайд».

Плавал к статуе Свободы — она зеленая, как парижский Шарлемань.

— Ты знаешь, что так называлась дивизия в составе войск СС — «Шарлемань»? — спросила Ада.

— Я бы хотел знать, почему ты это знаешь, — дипломатично ответил Адель.

Из Нью-Йорка он вернулся в свой маленький Париж — и твердо решил, что при первой же возможности уедет отсюда.

Ада слушала его и думала: никуда ты не уедешь.

Мы будем жить в Париже.

Нью-Йорк стоит отпуска.

Париж — целой жизни.

Вечером пошел дождь, Адель вез ее домой в такси.

Последнее, что она запомнила в тот вечер, — красные отсветы огней на мокрой дороге. Как пятна от витражей на холодных кам собора.

Олень и ребята

Ада не глядя сунула руку в сумку — и ахнула от боли. Напоролась на расческу, вечно лежит зубчиками вверх!

Адель сколько раз ей говорил — для твоей сумки нужны фонарик и путеводитель.

Они живут вместе пятнадцать лет. У Аделя не может быть детей, значит, у Ады их нет.

Дети у них могли получиться очень красивые. Русская, арабская и немецкая кровь — да еще под сенью Парижа!

В последние годы Аде всё труднее вспоминать такие слова, как русское «сень». В поисках пропадающих понятий она кривит жмурится и делает такое лицо, как будто у нее всё тело чешется. Поневоле вспомнишь ту актрису из «Шартье» — вот что быва людьми, вырванными из питательной среды родного языка!

Ей даже сны теперь удобнее смотреть на французском.

Сны на французском — про город, в котором она жила в детстве и юности.

Екатеринбург.

Сейчас каждый может.

Документы у нее в полном порядке. Париж был таким добрым, что выдал Аде и любовь, и мужа вместе, а ведь часто бывает — одно другое по отдельности.

До встречи с Аделем она и не подозревала, что сможет так любить живого человека — а не город из книг и снов.

Париж был очень добр к Аде.

И люди, конечно, тоже.

Татиана устроила ее на работу, а потом научила, как выправить документы — оказывается, при желании и за деньги можно сделать очень красиво и быстро. В паспорте ставят фальшивую отметку о выезде, потом надо было съездить в Москву за новой визо прекрасным уточнением — виза невесты.

Дельфин привела ее в Сорбонну, которую Ада окончила на законных основаниях, а Надя не стала выяснять с ней отношения.

Мадам Наташа одевала ее в свои ужасные, но теплые обноски, а Паскаль согревал настоящим теплом — как человек, который лю неважно, что маленький.

Наконец, Адель... Он боялся, что мама не одобрит Аду — но мама в нее просто влюбилась. Ада с ней сразу же начала говорить пс немецки — а кто не влюбился бы, нихт вар?

Да, Аде все помогали.

Но ведь и она — многим! Когда, уже обвенчавшись, снимали квартиру на бульваре Сен-Мартен, Ада встретила на улице девушку - красные пальцы в перчатках-митенках (давным-давно, в прошлом, Ада звала их «кондукторскими»), а глупая Эль-Маша — «минеточками»), голодные глаза и стаканчик из-под колы: просила милостыню.

Оказалось, Ася из Питера, нищенка с эстетскими замашками — ночевала она, к примеру, под креслами в Опера Гарнье. Днем там б тогда бесплатный вход, вот эта Ася и пробиралась туда каждый день и оставалась на ночь, как призрак Оперы.

— Фрески Шагала — сумасшедшие! — признавалась Ася, жадно доедая пиццу, которую купила ей Ада. — Сколько там сплю — и могу насмотреться!

Ада дала Асе двадцатку, посоветовала, где искать работу. Потом ушла, стараясь не оборачиваться, и всё равно видела перед глз красные пальцы в страшных перчатках.

Сейчас Ада дует на свои собственные пальцы, вполне еще красивые, с коротко обрезанными ногтями. Русских в Париже Ада узнае по маникюру — длинным накладным ногтям с приклеенными стразами. Сейчас ее пальцы ныли от столкновения с проклятой расчес — кажется, зубчики пропоролли кожу.

Ада спускалась в метро — элегантная женщина в сером пальто и небрежно повязанном шарфе. Ехать далеко, до набережной Бран там они сегодня встречаются с Оленью. В ресторане «Лезомбр».

Название очень подходящее, в переводе — «Тени».

В юности что Олень, что Ада в первую очередь подумали бы про тени для век. Перламутровые «Ланком» или дешевые польски похожие на побелку.

Сейчас это слово напоминает Аде о прошлом.

О том, что навсегда ушло в тень.

Но теперь каждый может

да, теперь каждый может.

Купить билет до Москвы, увидеть с ночной высоты пылающее солнце столичных улиц — а потом в Кольцово, родной заснеженный порт.

Такси поедет по новой дороге — для Ады она вечно новая, невиданная. Россельбан.

Справа — черный лес, и снег, сухой и легкий, как сахарная пудра, рассыпанная по верху пирога.

Дальше в воспоминаниях — тени, провалы.

Города, который она любила и помнила, больше не существует.

За эти годы Ада так ни разу и не собралась приехать. Боялась увидеть, что того Екатеринбурга больше нет. Олень без конца гово- том, как похорошел город. На одном из недавних фотоснимков всерьез похож на Гонконг.

А папа и вовсе заявил, что Екатеринбург станет однажды столицей России.

— Москва выпита, — сказал тогда папа.

Кстати, в Екатеринбурге тоже все помогали Аде. Папа выплатил долг Женечке. Мама переправляла документы. Олень... Олень приехала в Париж почти каждый год — в сезон распродаж. Встречи начинались одинаково — сначала они буйно рады, обнимают показывают друг другу фотографии детей (Олень) и собачки (Ада). Потом радость исчезает, говорить не о чем.

— Ты всё там же работаешь? — спрашивает Олень, хотя они весь год общаются в скайпе и все новости — на виду.

Ада работает всё там же — у них с Татианой крошечное туристическое агентство. Два человека, полкомнаты, один компьютер.

Интересно, сегодня она тоже об этом спросит?

Олень никогда не останавливается у Ады с Аделем — терпеть не может чужой быт. (А раньше так хорошо отдыхала в холодильнике Дружининской!)

Дружининскую давно отменили, точнее, обменяли. Живут на Жукова и строят дом в Рассохе. У них двое детей, мальчики — Никита Лев.

Никиту Олень однажды привезла в Париж — Ада была с ними в Диснейленде, парке «Астерикс» и галерее эволюции в Ботаническом саду. Мальчик — как фарфоровый, бело-розовый, с голубыми глазками. Если бы у Ады был такой мальчик, она бы целыми днями разглядывала, как картину. А Олень всё покрикивала да командовала. В парке Никита попросил игрушку — плюшевого Обеликса, отказала: дорого. Ада незаметно вернулась, купила:

— Пусть будет подарок от меня.

— Ну ладно, — мотнула плечом Олень. — Если ты настаиваешь. Держи, вот твой Обелиск!

— Спасибо, тетя Адель! — расцвел мальчик. Стал совсем как мейсенский фарфор. А потом уже в вагоне «эруэр» уточнил:

— Обелиск на площади Согласия, мама. А это — Обеликс.

— Странно, — заметила Олень, — ребенок мой, а поправляет всех прямо как ты, Адка.

...Она перешла через дорогу, пожалела, что нет времени — можно было бы посмотреть новую выставку в музее. Олень ни за что и пойдет, ее и в Помпиду не затащишь.

Вот она, Олень, за столиком, машет рукой! Какая... русская! Яркая помада, волосы, даже духи крепкие, как освежитель воздуха.

Однажды Олень рассказывала о своем романе с женатым мужчиной. Он был таким капризным, что Олень повсюду таскала с собой освежитель воздуха — даже в гостиницу, на свидание. Чтобы не оскорбить его грубым запахом.

Ада в ответ — другую историю. Вела недавно экскурсию у русской группы, и одна тетка оказалась ей ужасно знакомой. Недовол такая, вздыхала, томила, сверлила взглядом часики. Ада смотрела на нее и так и сяк, потом наконец вытянула из памяти имя — Е! Золотые зубы исчезли, как страшный сон, выглядела чуть ли не моложе Ады — жаль, что к лицу прилипла недовольная гримаса. Е! Аду не узнала, и слава Богу. А вечером подала распечатку из интернета: «Проверьте, здесь часы работы правильные?» Опять в Лу собралась. Ниже распечатанного текста от руки была сделана приписка — «пятнадцать минут хотьбы от гостиницы».

— Пятнадцать минут хотьбы! — хохотала Олень. — Лучшее в мире описание секса.

Что они скажут друг другу сегодня?

Фуа-гра смело подали с укропом и сырой морковью, камбалу — с кишем из шпината и капусты под сырной корочкой, а на десе принесли пьяную, крепко выпившую грушу с мороженым и черносмородиновым муссом. Под белой тугой салфеткой — булочка неприличной формы.

А за окнами — дождь, Башня, красные коробочки лифтов ездят вверх-вниз.

— Помнишь, в девятидесятых шел такой сериал — «Элен и ребята»? — спросила Олень.

— Не помню, — сказала Ада. — Я тогда чаще в кино бывала, чем у телика.

— А я смотрела и видела тебя, Адка. Как ты там живешь, ешь круассаны, бормочешь по-французски... Вот скажи, ты ни разу пожалела, что уехала?..

За окнами — парижские дома, серая черепица, как грозовое небо.

— Давай выйдем на крышу. Дождь, кажется, кончился.

Олень всё равно раскрыла зонт. На крыше с зонтиком, как Мэри Поппинс. Она уже забыла про свой вопрос, вовсю щебечет про дет Лев смешно коверкает слова. Даже поправлять жаль! Недавно выяснилось, он всерьез считает, что есть такие страны — Вита Виспания и Вавстрия.

— Потому что мы с Аленей постоянно говорим: поедem в Италию, а бабушка была в Испании, а дедушка — в Австрии.

Екатеринбург разлетелся по всему миру.

Как будто кто-то взял и грохнул копилку с монетами — куда какая закатилась.

— А вот она мне всё равно не нравится, — говорит Олень, кивая в сторону Башни. Отсюда, с крыши, Башня выглядит неожидан хрупкой. И так послушно, кротко отражается в лужах.

— Я никогда не жалела, — невпопад отвечает Ада.

«И никого», — под нос себе шепчет Олень.

Город-герой

Города как люди — с кем-то просто не складывается. Никто не виноват, ни ты, ни город. Ада много раз бывала в Нью-Йорке, ездил Татианой и Шарлотт на распродаже в Лондон и в гости к Паскалю — в Берлин. Паскаль вырос в красивого блондина, чуточку бол полного и кудрявого, чем хотелось бы. Мадам Наташа еще целый год после свадьбы Ады с Аделем норовила пристроить ей свои ст: наряды — но потом открыла для себя Красный Крест. Дельфин живет в Канкале, работает в малюсенькой гостинице — она растолсте обабилась, но совершенно точно не употребляет. Надя умерла от рака, Марк так больше и не женился.

Кажется, ничего не меняется — но при этом меняется всё.

На улице Ришелье была замечательная булочная — держал ее суровый бретонский мужчина, седой и косматый, как Зевс. Насколько был суровым, настолько же нежными были его багеты и сладкими — марципановые свинки с начинкой из шоколадного теста.

Ада ходила к бретонцу многие годы, и всякий раз он встречал ее в одной и той же синей майке, выпачканной мукой.

А потом она почему-то перестала приходить сюда за хлебом, вспомнила про бретонца только через год. И как в стену уткнулась. больше булочной, марципановые свинки живут только в мыслях.

В Екатеринбурге, если верить новостям из интернет-программы Олень, всё меняется еще быстрее. Открываются и закрываю рестораны, расцветают и догорают бизнесы, иногда — как в девятидесятых — бесследно исчезают люди.

Ада смотрит программу Олени, не отрываясь, каждый день.

Пытается собрать из нее Екатеринбург — по секундам.

Это — город-герой, о котором читаешь, но при встрече не можешь узнать.

У Ады мечта — вернуться, и когда-нибудь она обязательно это сделает. Вот увидите.

Ада лезет миллион раз просит: давай поедem в город твоего детства!

Аделя миллион раз просил, давая посылку в город твоего детства.

С трудом согласился на подмену — Москва, Санкт-Петербург и Золотое кольцо в придачу.

Вытерпела и Питер, и Москву с кольцом на пальце.

— А у нас смотреть нечего.

Того Екатеринбурга по имени Свердловск всё равно больше не существует.

Но, пока Ада не увидела этого собственными глазами, имеет право сомневаться.

Точно так же она не поехала после смерти бабушки в город Орск (Оренбургской обл. — так нужно было писать на конвертах). Она видела проданный чужим людям дом, где всё еще витают тени детских игр маленькой Ады, такие вот «лезомбр». Не слышала, как р старую яблоню, на ветках которой она сидела с книгой «Три мушкетера» издательства «Жазушы». Не знала, что отдали соседям — самой тете Лене, что протягивала поверх забора плитку гематогена, — письменный стол. За этим столом Ада обводила через папи копиру мушкетерский плащ с книжной иллюстрацией. Прячала монеты под бумагу — и штриховала их карандашом. А гематоген баб есть не разрешала — она была верующая. И Ада со слезами сдавала ей кровавый батончик.

Она не видела, не слышала, не знала того, как исчезают — одно за другим — вещественные свидетельства ее детства. А значит, могут всё еще существовать.

Может, бабушка всё еще живет в том доме на улице Электриков — просто Ада никак не может выкроить время и написать письмо старушке. В детстве мама заставляла ее писать бабушке каждый месяц — и она гнала строчки, как рифмоплет, переписывая оценочную таблицу.

Вот так и с Екатеринбургом.

Ада не едет — и всё в нем остается таким, каким было в девяностых.

А в новостях — мало ли что там показывают.

Если подумать хорошо, то Париж из юной мечты в точности похож на потерянный Екатеринбург из прошлого. В реальности существует ни того, ни другого.

Ада идет по мосту, думает — остров Ситё, сайт, место. Два дома в конце площади Дофина, которые писал Моруа: «Они из розового кирпича и тесаных белых камней, очень простые, но такие французские, что во время войны, вдали от моей страны, я мечтал о них каждую ночь как о символе всего того, что потерял».

Два дома у екатерининских «столбов», на улице Декабристов ничем не похожи на розовых близнецов Ситё.

Да и вообще у Парижа и Екатеринбурга крайне мало общего. Разве что любовь к металлу. Все эти оградки, балконы. Башни Каслинский павильон.

В ресторане на левом берегу японские девочки щебечут, как птички, а едят — бесшумно. Крабы на дне аквариума, словно тощие и бессильно скребут песок. И голые ветви каштанов — как объединенные кисти винограда. Русская официантка за тысячи километров перечисляет ассортимент блюд с таким убитым видом, как будто это не блюда, а ее личные претензии к мирозданию.

Женечка сидит за столом с новой женой, она похожа на генетически улучшенную версию старой. Прежняя жена — та, что носила пушистые штаны, — теперь возглавляет бутик дамской одежды. У нее квартира в жилом комплексе «Париж» на Белореченской, а Женя она бросила сама — кто бы мог представить? Старая хрущевская пятиэтажка прицепилась к «Парижу» сбоку, точно репей к штанам.

Эль-Маша вышла замуж за недопитого художника, с лицом как подмышка. У них живет собака-смесь: морда породистой овчарки, хвост — простонародный, как у самого распоследнего Шарика.

Другой художник — Сережа — так много времени проводит в интервью и встречах с поклонниками, что ему некогда рисовать.

Ада вспоминает свое детство — по стежке, по шагу, по слову.

Давным-давно в Екатеринбурге жила девочка, которые слушала музыку, сделанную человеческими руками, и верила в силы нового платья.

Вот художественная гимнастика во Дворце спорта. Маму спрашивают, какой у Ады аппетит:

— Ужасный! — признается мама.

— Отлично, — радуются тренерши, сестры-чемпионки.

Гимнастическую ленту для Ады папа делает сам — ручка из бамбуковой удочки.

Когда ведут домой после тренировки, голодную и злую, Ада ощупывает камешек на мамином пальце — и потом давит на нее со всей силой, чтобы остался след на руке.

С соседом Вовой, который не так давно потерял три пальца — взрывал бомбочки, — они играют пробками от духов и собирают спичечные этикетки. У Ады есть еще и собственная коллекция — мыло. Упаковка открыта с одной стороны, чтобы можно было понюхать — или аккуратно вынуть, подержать в руках гладкий брусок с вырезанным животным, чтобы вернуть на место. Родители замылили эту коллекцию только в девяностых.

Кинотеатр «Октябрь» стал вдруг стереоскопическим — в нем целый год показывали фильм «Ученик лекаря». Повернешься к залу — там особое зрелище, все в очках. На фасаде «Октября» — капители колонн, как совиные морды.

Воспоминания падают как дождь: не скроешься.

Похороны аквариумных рыбок в унитазе.

В восьмом классе пришла мода носить белые колготки — как у королей на портретах.

Во дворах — оградки клумб из кроватных спинок, а в больницах — комнатные цветы с длиннющими хвостами.

Одноклассник Дима начал работать в фотоателье — голову чуть в сторону и прямо на меня посмотрим!

Потом разворот — и еще лет на десять назад.

Ада училась читать слова наоборот. Ее не удивляли странные свердловские вывески, где не горела половина неоновых букв. Они выбитые зубы, но потом придет утро и вместо загадочной ночной «арик ахер ая га» появится простая и понятная «Парикмахерская Элегант».

Пейзаж терялся за словами.

Соседский пес-боксер подставлял, как для благословения, замшевую голову — на лбу продолговатые пролежни, как в готовом Ложбинки для пальцев.

Казнь грецких орехов между дверей, а папа обязательно раскалывает молотком абрикосовые косточки — там вкусные, немного кислые.

Перед новым годом нужно вырезать гирлянды из цветной бумаги — чтобы получился хоровод танцующих девушек. Олень-«ловящий ручки» справляется лучше всех.

Лето на даче под Сысертью. Внезапное явление папиного аспиранта в костюме — у него предзащита. (У папы тогда еще были аспиранты.) Гость в портфеле, в галстук и ботиночках пошел искать папу в лес и — Ада шла по следам, всё видела — набрал полный портфель красноголовиков! Возвращаясь домой в деревню, коровы перекрывали дорогу, как пьяные хиппи — и хозяйки радовались едва ли не больше, чем мужьям. Вымя коров — как рогатые мины.

Июльский тысячелистник и клумбы репьев. Черно-зеленая, зрелая зелень. И такой родной запах тушеной картошки с мясом — из-за крашеная железная решетка, как татуированное солнце.

Значки с портретами. Балахоны с карманами-сеточками. Российский сыр, который пахнет коровой. Бетонные одеяла строители заборов. Древесные стволы в известковых белых гольфах. Каменные палатки — стопками блинчиков. Пейзажи на уральской яшме: маленький Ленин на картине — точь-в-точь ангелочек-путтик.

Перед сном Ада пересчитывает в уме башни Консьержерии и величественные колонны церкви Мадлен, похожие на гигантские свечи именного торта. Она вспоминает скульптуру из какого-то сада — гордый лев забил страуса. Видит за окном гигантский фонтан Пантеона. Туристы не спят — вот идет какая-то пара, над решеткой метро девушка придерживает юбку, но жаркий воздух сильнее юбка парит, словно парус! Кажется, среди мальчишек это называлось «московский зонтик».

Статуи в нишах прячутся, подогнув ноги.

Тихо, чтобы не разбудить Аделя, она выходит из комнаты, потом — из дома. На тротуаре — роза. Лепестки нежно-шелковые, и :

почти неприятно. Ада растирает лепесток до темной тряпочки.

Кругом дыхание неспящего Парижа.

С утра Ада придет в свой офис — и первым делом проверит прогноз погоды в Екатеринбурге.

С утра в Екатеринбурге седая от инея трава — как будто за ночь постарела, пережив тяжелую весть. Днем она непременно сбросит

десяток лет и снова станет молодой и зеленой, вся жизнь впереди.

В этом — не сомневайтесь.